

БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ



БАТАЛОН ЧЕТВЕРЫХ

РАССКАЗЫ
О СОВЕТСКОМ
ХАРАКТЕРЕ



Ростов-на-Дону
Ростовское
книжное издательство
1984

P2
Б28

Художник
М. Погребинский

Батальон четверых: Рассказы о советском характере.—Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1984.—96 с.

В сборник вошли рассказы М. Шолохова, А. Толстого, А. Платонова и других советских писателей о стойкости, мужестве, героизме советского человека, проявившихся в борьбе с сильным и жестоким врагом в годы Великой Отечественной войны.

Б 4702010200—071
М 156(03)—84 без объявл. 84.

P2

© Состав. Оформление
Ростовское книжное
издательство, 1984.



Михаил Шолохов

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Евгении Григорьевне Левицкой,
члену КПСС с 1983 года

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток назисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недоброрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров,— но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищами выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постремки, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем

свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, выдавший виды «виллис», оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами копотили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде,—часа через два приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было; бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку,

присел на карточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облачками.

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брали по направлению к переправе, но, поклонившись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй.— Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки.

— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагнешь — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приоравливаться. Там,

где мне надо раз шагнуть,— я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужине бредет или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком.— Он помолчал немного, потом спросил:— А ты что же, браток, свое начальство ждешь?

— Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил:

— Приходится ждать.

— С той стороны подъедут?

— Да.

— Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?

— Часа через два.

— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат-шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак мочёный, что конь лечёный, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебединской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутьцу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшки по ноздри и выше.

Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпаные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку,

он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Иной раз не спиши ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милок, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только, гляди, ноги не промочи!

Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно, странное на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нем подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришила как следует, а скорее наживлена широкими, мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ища чары на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати, — нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чита. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть —

не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор! И не было для меня красивей и желанней ее, не было на свете и не будет!

Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе готовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немногого обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны, небось, глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я сплюну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и все поплынет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукой и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит...

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легости, нальет граненый стаканчик водки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу как миленький. А скажи она мне, хмельному, слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так бывает в иных семьях, где жена дура; насмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родил-

ся, через годá еще две девочки... Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу, семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку, на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса...

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатах, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе...

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ирина моя... Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка вылезли, и глаза мутные, несмысленные, как у трону-

того умом человека. Командиры объяляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево... И детишки ее уговаривают и я — ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой... Андрюша... не увидимся... мы с тобой... больше... на этом... свете...»

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял ее руки, легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы...

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!..

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табаксыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал крученку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих.

Гляжу, детишки мои осиротелье в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбнуться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез... По большей части такой я ее и во сне всегда вижу... Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут...

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне «ЗИС-5». На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посыпал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошнное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось! Вся держава на них оперлась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — и трудящую женщину, как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сяди на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вони много!

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; в первый раз —

пулей с самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным...

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему. — Я должен проскочить, и баста!» — «Ну, — говорит, — дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыпет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось... Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру.

Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует,— сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идет... Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал как срезанный, потому что понял, что я — уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает...

Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука.

Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчком. «Вот,—думаю,—и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле пристрочит.

Молодой парень, собой ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается», — соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попро-

бовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным, кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, равнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я — и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерий-

ская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растянутые, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что мы все промокли насекомые. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая сколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катуше. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я—военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света невзвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет» Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смиренный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал.

Беспрокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Не могу,— говорит,— осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал

фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень веселое... А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут вызывать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит близкий ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи,— говорит,— остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озnob колотит от такой подлючности. «Нет,— думаю,— не дам я тебя, сучье му сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. «Ну,— думаю,— не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придется мне его кончать».

Тронул я его рукой, спрашиваю шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежа-

чего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну,— говорю,— держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!»—а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык на боку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернавые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи»— и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет да и пожмет мне на ходу руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий приремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров,— сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания; на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я и залег в овсе на дневную. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами были в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой... живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях,— сердце уже не в груди, а в глотке бьется и трудно становится дышать...

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, и на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откалывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и про чеч дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печай-то, наверное, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкую баланда из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не впору.

В начале сентября из лагеря под городом Юстрином перебросили нас, сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успевашь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымашь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокре рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрем, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навыкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто кореннойолжанин. А матерщинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли,— идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так и далее. Аккуратный был, гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руку прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матерщинничает почем зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает... Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. «Когда он ругается,— говорит,— я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходит в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распил. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Чего жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно... .

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них почтая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою... Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полуульянный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно,— говорю,— герр комендант, много».—«А одного тебе на могилу хватит?»— «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься».—«Воля ваша»,— говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но как только услыхал эти слова,— меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью»,— говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка выпил его в себя, а закуску не тронул, вежливо вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за уго-

щение. Я готов, герр комендант, пойдемте; распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечая, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделая налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло...

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во

дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в по темках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивал мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суповой ниткой. До сталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учёт, ну, а сала, сам понимаешь, — только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скрупуль набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером, — шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «коппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстюющих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жири было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сырь, закусывает и выпивает; когда в добром духе, — и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей про-

тив наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилось? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Боя шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли...

«Ну,— думаю,— ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне надо, усердно подготовил, склонил под переднее сиденье. За два дня перед тем как рас прощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был многое кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры парабеллум, сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на

себя немецкий мундир и пилотку, ну, и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками машают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петлюю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертили, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видел, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плenу я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем над дороже двадцати «языков». Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в

отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить».

И полковник, и все офицеры, какие у него в блинда-же были, душевно попрощались со мной за руку, и я вы-шел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, бра-так, что еще долго я, как только с начальством при-ходилось говорить, по привычке невольно голову в пле-чи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не уда-рили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях...

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в пленау, как бежал вместе с немец-ким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но час-то, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуть-ся, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову ле-зут... На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофе-евич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сооб-щает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина, и дочери как раз были дома... Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте ха-тенки — глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во вре-мя бомбежки был в городе. Вечером вернулся в посе-лок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Пер-ред уходом сказал соседу, что будет проситься добро-вольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ири-на на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя не-складная жизнь?» А ведь в пленау я почти каждую ночь,

про себя, конечно, и с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мертвыми разговаривал??!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.

Мы закурили. В залитом полой водою лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сержки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик. — Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, напитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начались у меня по ночам старикивские мечтания:

как война кончится, как я сына женю и сам при моло-
дых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом,
всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась
у меня полная осечка. Зимою наступали мы без пере-
дышки, и особо часто писать друг другу нам было не-
когда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром по-
слал Анатолию письмушко, а на другой день получил
ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к герман-
ской столице разными путями, но находимся один от
одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не
чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись... Акку-
рат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего
Анатолия немецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир
роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерий-
ский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как
перед старшим по званию. Командир моей роты гово-
рит: «К тебе, Соколов», — а сам к окну отвернулся. Про-
низало меня, будто электрическим током, потому что
почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и ти-
хо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов,
убит сегодня на батарее. Пойдем со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь
сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на
большой машине, как пробирались по заваленным об-
ломками улицам, туманно помню солдатский строй и
обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот
как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в
нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий
мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит
молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полу-
прикрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неиз-
вестную мне далекую даль. Только в уголках губ так на-
веки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки,
какого я когда-то знал... Поцеловал я его и отошел в
сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья
моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные
слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно
так и болит?..

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю
свою радость и надежду, ударила батарея моего сына,
проводя своего командира в далекий путь, и словно
что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам
не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда

идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимой по ранению,— он когда-то приглашал меня к себе,— вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этакий маленький оборвый: лицо все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки — как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нему, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился — кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого

у тебя тут родных нету?»—«Никого».—«Где же ты ночуешь?»—«А где придется».

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свирипель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабине глушно: «Папка, родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел,— побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вшел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той—подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты,— говорит,— с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застreichой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душё, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него...

Перед рассветом проснулся, не пойму: с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыр солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, и он — то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то промолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты

куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться. «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». — «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофером, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сыном и командируемся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определить его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти, — сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться — слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять... Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь,

что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих пойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Ириной и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть — они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, по-взрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешил отвернуться. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скучная мужская слеза...



Алексей Толстой **РУССКИЙ ХАРАКТЕР**

Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он был немецев — я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертаясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъянами, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете и за границей побываешь, но русским званием — гордись...»

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте заташье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных...» — «Тьфу, бестолковый! — скажет третий, — любовь — это когда в тебе все кипит, человек ходит вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть... Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте, — очень, мол, хорошая девушка, и уж если сказала, что будет ждать, — дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге...

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнали со слов экипажа. В особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

— Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперед, — кричит, — полный газ!... Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок — брызги! Как даст еще в башню — он и хобот задрал... Как даст в третий — у тигра изо всех щелей повалил дым, — пламя как рванется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемета повел —

они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты кто куда... А — грязно, понимаешь, другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск! Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду. «А ну двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще и поутюжил, остальные руки вверх и Гитлер капут...»

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже поистекли кровью и дрогнули, его танк — на бугре, на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта,— он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев.— Слыши, у него сердце стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрения, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже,— сказал он,— с этим жить можно.

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». — «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми,

прямymi, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской настынивал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать,— при тусклом свете привёрнутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку—и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел в дворик и на крыльце, постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце — привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам будто в первый раз услышал свой голос, изменившийся после всех операций,— хриплый, глухой, неясный,

— Батюшка, а чего тебе надо-то?— спросила она.

— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:

— Жив Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.

Егор Дремов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говорила: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, подробно, как он ест, пьет, не

терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и кратко—
о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала
сна, глядя ему в лицо темными, его не видящими гла-
зами.

— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — при-
вычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти
годы, — бородку у него как мухой осыпало. Поглядывая
на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не
спеша размотал шарф, снял полуушубок, подошел к сто-
лу, поздоровался за руку, — ах, знакомая была, широкая,
справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая,
потому что и без того было понятно, зачем здесь гость
в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв
глаза.

Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый
и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее бы-
ло ему открыться, — встать, сказать: да признаите же вы
меня, урода, мать, отец!. Ему было и хорошо за роди-
тельским столом, и обидно.

— Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-ни-
будь для гостя. — Егор Егорович открыл дверцу старень-
кого шкафчика, где в уголку налево лежали рыболовные
крючки в спичечной коробке, — они там и лежали, — и
стоял чайник с отбитым носиком, — он там и стоял, —
где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор
Егорович достал склянку с вином — всего на два стакан-
чика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать,
как в прежние годы. И только за ужином старший лейте-
нант Дремов заметил, что мать особенно пристально
следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать под-
няла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна и
справится ли народ с севом, и о том, что этим летом на-
до ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим ле-
том надо ждать конца войны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через
смерть прошли, теперь его не остановишь, немцу —
капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, — к
нам съездить на побывку. Три года его не видали, чай,

взрослый стал, с усами ходит... Эдак — каждый день —
около смерти, чай и голос у него стал грубый!

— Да вот приедет — может, и не узнаете, — сказал
лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый
кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый су-
чок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным
уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский
ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похра-
пывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейте-
нант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не
признала, — думал, — нёужто не признала? Мама,
мама...»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать
осторожно возилась у печи; на протянутой веревке висе-
ли его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые
сапоги.

— Ты блинки пшеничные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку,
затянул пояс и босой сел на лавку.

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева,
Андрея Степановича Малышева doch?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учи-
тельницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать по-
клон.

Мать послала за ней соседскую девчонку. Лейтенант
не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Ши-
рокие серые глаза ее блестели, брови изумленно взле-
тали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с го-
ловы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже
застонал про себя: поцеловать бы эти теплые, светлые
волосы!.. Только такой представлялась ему подруга, —
свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла,
и вся изба стала золотая...

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к
свету и только нагнул голову, потому что говорить не
мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее
слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он
твердо решил уйти — сегодня же.

Мать напекла пшеничных блинов с топленым молоком;
Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот
раз о его воинских подвигах, рассказывал жестоко и не

поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь,— но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшем, даже, останавливаясь, ударила ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так: пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати,— эту занозу он из сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:

«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя,— человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю夜里 — кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это — совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын, разве бы он не открылся... Чего ему скрываться, если это был бы он,— таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце — все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор— почистить, да припаду к ней, да заплачу,— он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня, что было. Или уж вправду — с ума я свихнулась...»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот,— говорю,— характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощения, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Паликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее, и так далее — на четырех страницах мелким почерком,— он бы и на двадцати страницах написал — было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне — прибегает солдат и к Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое,

хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу, он не в себе — все покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу: «Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я не видел.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. «Катя! — говорит он. — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...»

Красивая Катя ему отвечает, а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.



Леонид Соболев

БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ

Этот бой начался для Михаила Негребы прыжком в темноту. Вернее — дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогли вылететь из люка самолета, где он неловко застрял, задерживая других.

Он пролетел порядочный кусок темноты, пока не решил дернуть за кольцо: это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолета. Парашют послушно раскрылся, и, если бы Негреба смог увидеть рядом своего друга Королева, он подмигнул бы ему и сказал: «А все-таки вышло по-нашему!»

Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королев, ни Негреба не могли, понятно, упустить такого случая, и оба на вопрос, прыгали ли они раньше, гордо ответили: «Как же... в аэроклубе — семь прыжков». Можно было бы для верности сказать — двадцать, но тогда их сделали

бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью; достаточно было и того, что при первой подгонке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки (как бы критикуя укладку на основании своего опыта) и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и подгонять лямки.

Однако все это обошлось, и теперь Негреба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, орудийная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблескивало вокруг всей Одессы, а с моря били корабли, поддерживая высадку десантного морского полка (с которым должны были соединиться парашютисты, пройдя с тыла ему навстречу). В городе кровавым цветком распускался большой, высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негреба, было совершенно темно.

Впрочем, вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивая частыми затяжками. Это и была линия фронта, и сесть следовало за ней, в тылу у румын. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил над боем вкось.

Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил в темноту кинжалом. Но это оказалось проволокой связи. Негреба вынул из мешка кусачки и перекусил ее в нескольких местах, ползя вдоль нее. Тут ему пришло в голову, что проволока может привести к румынской части, где можно устроить порядочный аврал огнем из автомата.

Через час проволока привела в бурьян. Всматрившись в рассветную мглу, Негреба увидел трех коней и поодаль часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выждидать, пока они привыкнут. За это время Негреба надумал, что можно снять часового, вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правой — кинжал. Именно эта правая рука провалилась на ползке в непонятную яму и тотчас уперлась во что-то мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. Откуда-то из-под земли шли громкие голоса.

Наконец он понял: мягкое и упругое препятствие оказалось одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, звенели шпоры, стучала пищущая машинка. Негреба осторожно прорезал кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб батальона, может быть, полка. Румынские офицеры сгрудились у стола за картой, по которой им что-то раздраженно показывал черноусый и давно не бритый пожилой офицер. В углу на карточках сидели телефонисты. Они подозвали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. Негреба под этот шум вынул из сумки гранату. Одной ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую, потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зашокали копыта, и к погребу подскакали еще двое. Негреба дал им войти и тотчас же похвалил себя за это: все офицеры в подвале вытянулись и встали «смирно»— очевидно, один из вошедших был большим начальником.

Негреба швырнул гранаты в отдушину и кубарем покатился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда.

Уже рассвело, когда Негреба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залег в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник. Он скакал во весь дух, оглядываясь и пригибая голову к шее коня. Негреба навел на него автомат, но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился. Негреба обрадовался: видно, рядом прятался еще один наш парашютист. Снова застучал автомат, и Негреба понял, что он бьет из кустов рядом.

Он решил переползти по кукурузе к товарищу (все же вдвоем лучше), но тут завыли мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда из ложбинки показалось несколько румын, беспрерывно стреляющих по кустам, где сидел неизвестный Негребе товарищ. Негреба в их трескотню добавил свою очередь. Несколько румын упало, остальные кинулись в кукурузу. Все снова стихло, только издали доносилась стрельба.

Он пополз к кустам и нашел там Леонтьева. Тот лежал ничком, подбитый миной. Негреба повернул его. Леонтьев открыл глаза, но тут же закрыл и негромко сказал:

— Миша... пристрели... не выбраться...

Негреба взглянул в его белое, восковое лицо и вдруг отчетливо понял, что тут, в этих кустах, он найдет и свой собственный конец: пронести Леонтьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь или выполнить его просьбу — тоже. Все в нем похолодело и заныло, и он ругнул себя — нужно ему было лезть сюда... Шел бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы... Но хотя жалость к себе и своей жизни, с которой приходится расставаться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилег к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел:

— Это, друг, всегда поспеется... Сперва перевяжу... Отсидимся: двое — не один...

На перевязку ушли оба пакета — леонтьевский и свой. Леонтьев почувствовал себя лучше. Негреба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат и сказал:

— Ты за кинжалную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только и делов! Отобъемся. Слыши, наши близко.

В самом деле, впереди, за румынскими окопами, шла яростная стрельба. Видимо, десантный полк атаковал румын. Но от этого было не легче: скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад и кустик с двумя моряками окажется как раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому. Негреба выложил перед собой гранаты, запасной диск к автомату и повернулся к Леонтьеву:

— Гранаты у тебя есть?

— Есть,— ответил тот, примеряясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автоматом.— Три штуки. Гранаты возьми, а диск мой не тронь. Сам стрелять буду... Наложим их, Миша, пока дойдут, а?

— Факт, наложим,— сказал Негреба, и они замолчали.

Бой приближался. Стрельба доносилась все ближе. Солнце уже грело порядочно, и теплый, горький запах трав подымался от земли. Ждать последнего боя — и с ним смерти — было трудно. Сбоку, метрах в трехстах, виднелась глубокая балка, где можно было бы отлично держаться и бить румынских фашистов с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог.

Он заставил себя смотреть перед собой, на ложбинку, откуда должны были появиться враги. И уже хотелось, чтобы это было скорее: ему показалось, что нер-

вов у него не хватит и что, если это ожидание еще продолжится, он оставит Леонтьева в кустах и один поползет к балке, в сторону от пути отходящих батальонов.

— Наши сзади,— сказал вдруг Леонтьев.— Слышишь?

Негреба и сам слышал сзади четкие недолгие очереди, но боялся этому верить. Леонтьев зашевелился и закричал слабым, хриплым голосом:

— Моряки!.. Сюда!..

Он пытался подняться, но снова упал на траву. Негреба высунул голову из куста и в желтой кукурузе увидел неподалеку черную бескозырку, левее — вторую. Он встал во весь рост и замахал рукой:

— Моряки!.. Перепелица, чертяка, право на борт, свои!

Два парашютиста перебежали по кукурузе к кустам.

Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в куст, и Негреба накрою сообщил им обстановку и свой план: перебежать в балку и быть отходящих румын с фланга.

— Тут нам не позиция, тут нас, как курей, задушат,— сказал он.— Тащите Леонтьева, я прикрывать буду.

Котиков и Перепелица подняли раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза: каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось еще метров восемьдесят, когда из ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десятка румын. Негреба ответил огнем из автомата, но и остальным двоим пришлось положить Леонтьева и тоже вступить в бой. Отбившись, моряки наконец скатились в балку и там нашли еще одного парашютиста — Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами и выставив из травы черное дуло автомата. Увидев краснофлотцев, он возбужденно сказал:

— А я уж думал — мне труба! Лежу один как перст, а их сейчас попрет — только считай... Ну, теперь нас сила!

Леонтьев был без сознания. Негреба осмотрел повязки: они были в крови. Тогда он снял с себя форменную, разорвал ее и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад.

— Позавтракаем пока, что ли,— сказал он. И остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот, и проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло,

и каждый из них дорого дал бы за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои фляги еще ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, и он протянул фляжку Негребе:

— Дай ему. Горит человек.

Негреба осторожно влил воду в рот Леонтьева. Тот глотнул и открыл глаза.

— Держись, Леонтьич,— сказал Негреба,— гляди, нас теперь сколько... Факт, пробьемся!

Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица негромко сказал:

— Поперли руманешти, гляди...

И точно, из ложбинки прямо на те кусты, где недавно еще были моряки, выбежала первая толпа отступающих румын. Впереди всех и быстрее всех бежало шесть немцев-автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по отступающим румынам.

— Вот это тактика! — удивился Негреба. — Что ж, морячки, поможем немцам?.. Только чур не по-ихнему: прицельно бить, не очередями.

Он засучил рукава тельняшки и выстрелил первым в офицера, размахивающего пистолетом. Из балки во фланг отступающим ударили пули моряков.

Можно было и не стрелять. Румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке, и моряки прошли бы к себе в тыл без потерь. Но они стреляли, открывая огнем свое присутствие здесь, стреляли, потому что каждый выстрел уничтожал еще одного врага, стреляли, помогая атаке десантного полка.

Под этим огнем офицерам не удалось ни остановить, ни сбить выбежавшие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков, и кто-то из офицеров собрал десятка два солдат и повел их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки. Наконец волна румын прошла, оставив в кукурузе и у балки неподвижные тела. Перепелица оглянулся на поле боя.

— Порядком наложили! — сказал он удовлетворенно. — А как у нас с патронами, ребята?

С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побежать румыны соседнего участка, и, по всем расчетам, они неминуемо должны были наскочить на балку.

Негреба предложил повторить маневр и перебраться в соседнюю, которая опять окажется с фланга отступающих, но, посмотрев на Леонтьева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая. Потом Негреба сказал:

— Что ж... Видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами. По тем, кто вплотную набежит.

Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом Перепелица достал из мешка офицерский пистолет и посмотрел обойму.

— Шесть патронов,— сказал он.— А нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли, кому? Понятно?

— Понятно,— сказал Литовченко.

— Ясно,— подтвердил Котиков.

— Точно,— добавил Негреба.

Он сорвал четыре травинки и откусил одну, подровняв концы, зажал в кулак и протянул Литовченко.

— Откуда у тебя ихний пистолет?— спросил тот Перепелицу, вытягивая травинку, и закончил облегченно:— Не мне, длинная.

— Пристукнул ночью офицера,— ответил Перепелица.— Вещь не тяжелая, а пригодится... Тащи ты, Котиков.

— Может, лучше свои патроны оставить?— раздумчиво сказал тот, осторожно тща травинку.— Погано ихими-то пулями...

Его травинка тоже оказалась длинной.

— Коли ранят, с автоматом не управишься, а этим и лежа всех достанешь,— сказал Перепелица деловито и потянул травинку сам.— Тоже длинная. Выходит, Миша, тебе... Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет, понятно?

— Ясно,— сказал Негреба и положил пистолет под руку.

— Кажись, пошли,— негромко сказал Котиков.— Ну, моряки... Коли ничего не будет, свидимся.

И моряки замолчали. Только изредка стонал Леонтьев. Перепелица перекинул Негребе бушлат:

— Прикройся. Лежиши, что зебра полосатая. За версту видать.

— Все одно видать,— ответил Негреба.— Лучше уж так. Хоть увидят, что моряки.

И они снова замолчали, вглядываясь в лавину румын, покатившуюся к балке.

Румыны выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседал на них, снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотной цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой все ближе и ближе были к горсточке моряков. Около сотни их побежали прямо на балку, видимо чуя, что они смогут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они еще раз залегли, отстреливаясь, потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке.

Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, исхаженные страхом. Они были так близко, что тяжелый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно.

И тогда на их пути встал Негреба, встал во весь рост — крепкий и ладный, в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой.

— Эй, антёнески, огребай матросский подарок! — крикнул он в исступлении и швырнул гранату. Вслед за ней из балки вылетели еще три. Ахнули взрывы. Румыны попадали. Другие отшатнулись и, петляя, двинулись по сторонам. Моряки бросили еще четыре гранаты. Проход расширился. Перепелица крикнул:

— Мишка, а ведь прорвемся! Хватай Леонтьева!

Моряки мгновенно поняли его, и каждый свободной рукой подхватили раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами, и Леонтьев от боли пришел в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что румыны кинулись за ними. Он разжал зубы и глянул на Перепелицу.

— Бросьте меня... Пробивайтесь...

Перепелица выругал его на бегу, и он замолчал.

Румыны подскочили уже близко. Моряков было всего пятеро, а их сотни. Враги, видимо, поняли это и решили взять моряков живьем. Рослый солдат прыгнул на Перепелицу, пытаясь ударить его штыком. Котиков выпустил ногу Леонтьева и выстрелил румыну в затылок но другой кинулся на него. Перепелица подхватил румынскую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата, за ним второго и третьего. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул ее в подбегавших солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли

огонь. Пули засвистели вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул:

— Тащите вдвоем, мы с Котиковым задержим!

Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негреба и Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое ползли за ними, сдерживая румын редким, но точным огнем. Наконец те отстали, спеша уйти в тыл, а моряки неожиданно для себя провалились в опустевший румынский окоп.

Тут они опомнились и осмотрелись: у Котикова пулей была пробита щека, у Перепелицы две пули сидели в ляжке. Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязки ушли все форменки.

Румыны были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли и наполнили, положили возле него румынский автомат и гранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его, полные слез, лучше всяких слов говорили о том, что было на его душе. Взгляд этот, вероятно, смутил Негребу, потому что он встал и сказал с излишней деловитостью:

— Полежи тут, больше трясти не будем. Сейчас носилки пришлем. Идем своих искать.

И они встали в рост — четыре человека в полосатых тельняшках, в черных бескозырках, окровавленные, перевязанные сбрыvkами форменок, но сильные и готовые снова пробиваться сквозь сотни врагов.

И, видимо, сами они поразились своей живучей силище. И Перепелица сказал:

— Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота... Сколько нас? Четверо?.. Батальон, слушай мою команду: шагом... арш!



Андрей Платонов
ДЕРЕВО РОДИНЫ

Мать с ним попрощалась на околице; дальше Степан Трофимов пошел один. Там, при выходе из деревни, у края проселочной дороги, которая, зачавшись во ржи, уходила отсюда на весь свет,— там росло одинокое старое дерево, покрытое синими листьями, влажными и блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали это дерево «божьим», потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие в русской равнине, потому что его не однажды на его старицком веку убивала молния с неба, но дерево, занемогши немного, потом опять оживало и еще гуще прежнего одевалось листьями, и потому еще, что это дерево любили птицы, они пели там и жили, и дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей — лишние увядшие листья, а замирало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и было живым.

Степан сорвал один лист с этого божьего дерева, положил за пазуху и пошел на войну. Лист был мал и влажен, но на теле человека он отогрелся, прижался и стал неощутимым, и Степан Трофимов вскоре забыл про него.

Отойдя немного, Степан оглянулся на родную деревню. Мать еще стояла у ворот и глядела сыну вослед; она прощалась с ним в своем сердце, но ни слез не утирала с лица и не махала рукой, она стояла неподвижно. Степан тоже постоял неподвижно на дороге, в последний раз и надолго запомниая мать, какая она есть — маленькая, старая, усохшая, любящая его больше всего на свете; пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет.

«Потерпи немного,— произнес ей сын в своей мысли,— я скоро вернусь, тогда мы не будем расставаться».

Старая мать осталась одна вдалеке — у ворот избы, за рожью, чтобы ждать сына обратно домой и томиться по нем, а сын ушел. Издали он еще раз обернулся, но увидел только рожь, которая клонилась и покорялась под ветром, избы же деревни и маленькая мать скрылись за далью земли, и грустно стало в мире без них.

Степан Трофимов был обученный, запасной красноармеец. Два года тому назад он отслужил свой срок в армии и еще не забыл, как нужно стрелять из винтовки. Поэтому он недолго побывал в районном городе и с очередным воинским эшелоном был отправлен воевать с врагом на фронт.

На фронте было пустое поле, истоптанное до последней былинки, и тишина. Трофимов и его соседние товарищи отрыли себе ямки в земле и легли в них, а винтовки незаметно, чуть-чуть высунули наружу, ожидая навстречу неприятеля. Позади пустого поля рос мелкий лес, с листвою, опаленной огнем пожара и стрельбы. Там, наверно, таился враг и молча глядел оттуда в сторону Трофимова. У Трофимова стало томиться сердце; он хотел поскорее увидеть своего врага — того тайного человека, который пришел сюда, в эту тихую землю, чтобы убить сначала его, потом его мать и пройти дальше, до конца света, чтобы всюду стало пусто и враг остался один на земле.

«Кто это, человек или другое что? — думал Степан Трофимов о своем неприятеле. — Сейчас увижу его!» И красноармеец глядел в серое поле, далекое от его дома,

но знакомое, как родное, и похожее на всю землю, где живут и пашут хлеб крестьяне. А теперь эта земля была пуста и безродна,— что жило на ней, то умерло под железом и солдатским сапогом и более не поднялось рости.

«Полежи и отдохни,— говорил пустой земле красноармеец Трофимов,— после войны я сюда по обету приду, я тебя запомню, и всю тебя сызнова вспашу, и ты опять рожать начнешь; не скучай, ты не мертвая».

Из темного, горелого мелколесья, на той стороне поля, вспыхнул краткий свет выстрела. «Не стерпел,— сказал Трофимов о стрелявшем враге,— лучше бы ты сейчас потерпел стрелять, а то потом терпеть тебе долго придется — помрешь от нас и соскучишься».

Командир еще загодя сказал красноармейцам, чтобы они не стреляли, пока он им не прикажет, и Трофимов лежал молча.

Немцы постреляли еще, но вскоре умолкли, и снова стало тихо, как в мирное время. В поле свечерело. Делать было нечего, и Трофимов заскучал. Он жалел, что время на войне проходит зря,— надо было бы либо убивать врагов, либо работать дома в колхозе, а лежать без дела — это напрасная трата народных харчей. «Вот и ночь скоро,— размышил Трофимов,— а что толку? Я еще ни одного немца не победил!»

Когда совсем стемнело, командир велел красноармейцам подняться и без выстрела, безмолвно, идти в атаку на врага. Трофимов оживился, повеселел и побежал вперед за командиром. Он понимал, что чем скорее он будет бежать вперед, на врага, тем раньше возвратится назад в деревню, к матери.

В лесу было неудобно бежать и не видно, что делать. Но Трофимов терпеливо сокрушал сапогами слабые деревья и ветки, мчался вперед с яростным сердцем, с винтовкой наперевес.

Чужой штык вдруг показался из-за голых ветвей, и оттуда засветилось бледное незнакомое лицо со странным взглядом, испугавшим Трофимова, потому что это лицо было немного похоже на лицо самого Трофимова и глядело на него с робостью страха. Трофимов с ходу вонзил свой штык вперед, в туловище неприятеля, долгим, затяжным ударом, чтобы враг не очнулся более, и приостановился на месте, давая время своему оружию соверить смерть. Потом он бросился дальше во тьму.

чтобы сейчас же встретить другого врага в упор и ударить его штыком насмерть. Командира теперь не было — он, наверно, ушел далеко вперед. Трофимов побежал еще быстрее, желая нагнать командира и не заблудиться одному среди неприятеля. Сбоку, из чащи кустарника, начал бить автомат и перестал. Трофимов повернулся в ту сторону, перепрыгнул через пень и тут же свалился на мягкое тело человека, притаившегося за пнем. Винтовка вырвалась из рук красноармейца, но Трофимову она сейчас не требовалась, потому что он схватил врага вручную; он обнял и молча начал сжимать его тело вокруг груди, чтобы у фашиста сдвинулись кости с места и пресеклось дыхание. Фашист сначала молчал и только старался понемногу дышать, стесняемый красноармейскими руками. «Ишь ты, еще дышит,— сдавливая врага, думал Трофимов.— Врешь, долго не протерпишь,— я на гречишной каше вырос и сеянный хлеб всю жизнь ел!»

Слабое тепло шло изо рта врага; замирая, он все еще дышал и старался даже пошевельнуться.

— Еще чего! — прикрикнул Трофимов, выдавливая из немца душу наружу.— Кончайся скорее, нам некогда!

Враг неслышно прошептал что-то.

— Ну? — спросил его Трофимов и чуть ослабил свои руки, чтобы выслушать погибающего.

— Русс... Русс, прости!

Трофимов сказал:

— Нельзя, вы вредные.

— Русс, пощади! — прошептал немец.

— Теперь уж не смогу прощать тебя, — ответил Трофимов врагу.— Теперь уж не сумею... У меня мать есть, а ты ее сгонишь с земли.

Он заметил свою винтовку, она лежала близко на земле; он дотянулся рукой до нее, взял к себе и ударил врага кованым прикладом насмерть по голове.

— Не томись, — сказал Трофимов.

Он поднялся и пошел по перелеску, щупая штыком всюду во тьме, где что-нибудь нечаянно шевелилось. Но всюду было безлюдно и тихо. Немцы, должно быть, ушли отсюда, а может быть, они еще тут, но затаились. Трофимов решил пройти по перелеску дальше, чтобы встретить своего командира и узнать у него, что нужно делать дальше, если враг отошел отсюда. Он прислушивался. Лишь вдалеке изредка била наша большая пушка, точно вздыхала и опять замирала в своей глубине спящая

земля, а помимо пушечных выстрелов все было тихо. Но в другой стороне, откуда пришел Трофимов, за полями и реками, стояла среди ржи одна деревня; туда не доходила стрельба из пушек и тревога войны,— там спала сейчас в покое мать Степана Трофимова и у последней избы росло одинокое божье дерево.

Автомат ударил вблизи Трофимова. «По мне колотят»,— решил Трофимов, и сердце его поднялось на врага; он почувствовал скорбь и ожесточение, потому что раз мать родила его для жизни — его убивать не должно и убить никто не может.

Трофимов побежал на врага, бившего в него огнем из тьмы, и остановился. Он остановился в недоумении, узнав впервые от рождения, что он уже не живет. Сердце его точно вышло из груди и унеслось наружу, и грудь его стала охлажденная и пустая. Трофимов удивился, оттого что ему было теперь не больно и пусто жить, и стало все равно, ни грустно, ни радостно, но он еще по привычке человека и солдата сказал: «Зря ты, смерть, пришла, ты обожди — я потом помру»,— и он упал в траву и откинул винтовку как ненужное оружие: пусть пропадет в траве и не достанется врагу.

Он очнулся вскоре. Сердце его слабо шевелилось в груди. «Ты здесь?»— с простотою радости подумал Трофимов. Он ощупал себя по телу — оно теперь было усохшее и томное; из раны в груди вышло много крови, но теперь рана затянулась и только тепло жизни постоянно выходило из нее и холодела душа.

— Вы у нас,— сказал Степану Трофимову чужой человек.

— Ты немец, что ль?— спросил Трофимов; он увидел, еще тогда, когда тот человек сказал свои слова, он увидел по одежде и нерусскому звуку языка, говорившего по-русски, что он погиб. «А я не погибну!— решил Трофимов.— Я как-нибудь буду!»

— Говорите быстро, что знаете?— опять спросил его немецкий офицер.

«А что же я знаю?— подумал Трофимов.— Да ничего!» И ответил вслух:

— Я знаю, что хоть все мы в дырья насквозь тела будем простреляны, а все одно твоя сила нас не возьмет!

— Значит, вы знаете вашу силу,— произнес офицер.— В чем же она заключается?

— Чувствую так, стало быть — знаю,— проговорил

Трофимов; он огляделся в помещении, где находился: на стене висел портрет Пушкина, в шкафах стояли русские книги.—«И ты здесь со мной!—прошептал Трофимов Пушкину.— Изба-читальня здесь, что ль, была? Потом всему ремонт придется делать!»

— Я спрашиваю, где в ночной атаке находился командный пункт вашей части?— сказал офицер.

— Как где?— удивился Трофимов.— Наш командир впереди меня на фашистов наступал.

— Командир — это вы,— убежденно сказал офицер.— Вы напрасно переоделись в солдата.

— Ага,— промолвил Трофимов,— ну, тогда ты отсталый. Какой же я командир, когда я человек неученый и сам простой?

Немецкий офицер взял со стола револьвер.

— Сейчас вы научитесь.

— Убьешь, что ль?— спросил Трофимов.

— Убью,— подтвердил офицер.

— Убивай, мы привыкли,— сказал Трофимов.

— А жить не хотите?— спросил офицер.

— Отвыкну,— сообщил Трофимов.

Офицер поднялся и ударил пленника рукояткой револьвера в темя на голове.

— Отвыкай!— воскликнул фашист.

«Опять мне смерть,— слабея, подумал Трофимов.— Дитя живет при матери, а солдат при смерти»,— пришли к нему на память слышанные когда-то слова, и на том он успокоился, потому что сознание его затемнилось.

Вспомнил Трофимов о себе не скоро — в тыловой немецкой тюрьме. Он сидел, скорчившись, весь голый, на каменном полу, он озяб, измучился в беспамятстве и медленно начал думать. Сначала он подумал, что он на том свете. «Ишь ты, и там война, и тут худо — тоже не отогреешься»,— произнес про себя Трофимов. Но, осмотревшись, Трофимов сообразил, что так плохо нигде не может быть, как здесь, значит, он еще живой.

Он находился в каменном колодце, где свободно можно было только стоять. Вверху, на большой высоте, еще горела маленькая электрическая лампа, испуская серый свет неволи; в узкой железной двери был тюремный глазок, закрытый снаружи. Трофимов поднялся в рост и опробовал себя, насколько он весь цел. На груди запеклась кровь от раны, а пуля, должно быть, утонула где-то в глубине тела, но Трофимов сейчас ее не чув-

ствовал. Лист с божьего дерева родины присох к телу на груди вместе с кровью и так жил с ним заодно.

Трофимов осторожно, не повреждая, отделил тот лист от своего тела, обмочил его слюною и прилепил к стене как можно выше, чтобы фашист не заметил здесь его единственного имущества и утешения. Он стал глядеть на этот лист, и ему было легче теперь жить, и он начал немного согреваться.

«Я вытерплю,— говорил себе Трофимов,— мне надо еще пожить, мне охота увидеть мать в нашей избе, и я хочу послушать, как шумят листья на божьем дереве».

Он опустился на пол, закрыл лицо руками и стал тихо плакать — по матери, по родине и по самом себе.

Потом ему стало легче. Он отер свое лицо и захотел представить себе — какой он есть сейчас на вид. Он давно не видел своего лица — ни в зеркале, ни в покойной, чистой воде. «Сейчас я на вид плохой, зачем мне смотреть на себя», — сказал Трофимов.

Он встал и снова загляделся на лист с божьего дерева. Мать этого листика была жива и росла на краю деревни, у начала ржаного поля. Пусть то дерево родины растет вечно и сохранно, а Трофимов и здесь, в плену врага, в каменной щели, будет думать и заботиться о нем. Он решил задушить руками любого врага, который заглянет к нему в камеру, потому что если одним неприятелем будет меньше, то и Красной Армии станет легче.

Трофимов не хотел зря жить и томиться; он любил, чтоб от его жизни был смысл, равно как от доброй земли бывает урожай. Он сел на холодный пол и затих против железной двери в ожидании врага.



Сергей
Сергеев-Ценский

В СНЕГАХ

1

В это утро, умываясь около землянки ледяной водой, летчик лейтенант Свиридов вспомнил только что виденный странный какой-то сон.

Обыкновенно никаких в последнее время снов Свиридов не в состоянии был припомнить, но этот почему-то запомнился.

Он видел свою московскую квартиру на шестом этаже и в ней — жену Нюру и четырехлетнюю светловолосую, в отца, дочку Катю. Они сидели обнявшись, смотрели в окно, а ближе к двери, на полу, стоял электрический чайник, от которого шел красный шнур к штепселью. Он же сам будто бы вошел в эту комнату из коридора и вдруг услышал слова, сказанные очень отчетливо и с большой тоской:

— Я — жаворонок... Я умею говорить по-человечески... И вот меня хотят изжарить!

Слова эти шли из чайника, а когда он пригляделся,

то оказалось, что чайник почему-то похож на клетку, и в этой клетке-чайнике метался действительно серенький хохлатый жаворонок с безумными от ужаса глазами.

Потом как-то все спуталось, смешалось. Он порывался вытащить из горячего уже чайника-клетки этого изумительного говоруна, но почему-то не мог, а Нюра и Катя уже не сидели около окна,— их не было в комнате,— и никто не объяснил ему, что это за жаворонок и зачем было его жарить. А потом на дне чайника он увидел только маленькую головку уже зажаренной птички.

В двадцать пять лет люди вообще мало бывают склонны думать о том, чего не бывает в жизни, а здесь, в тундре, где тонули в снегах низкорослые жидаенькие корявенькие березки и неумолчно гремела война, тем более некогда было думать об этом.

Кругом лежала укрытая снегом тундра, подпертая на западе грядою сопок, а на севере темнело полосой Баренцево море, и оттуда сейчас тянулся легкий, но свежий ветер.

В этот день Свиридов должен был патрулировать там, в стороне чуть заметно синевших дальних сопок, из-за которых часто появлялись вражеские бомбардировщики, чтобы тревожить Мурманск.

Аэродром, на котором, тщательно замаскированный, стоял в ряду с другими и его «ястребок», был укрыт мягким, пока еще неглубоким снегом.

Свиридов, тепло одетый для полета, казался издали толстым и неуклюжим, хотя был легким и гибким, хорошим гимнастом. Из землянки он вышел, захватив с собой на всякий случай бортпак: несколько банок консервов, несколько плиток шоколаду. И вот, быстро пробежав по снегу и оставив в нем широкий след, «ястребок» оторвался от земли и свечкой пошел в высоту.

Как-то вышло так, что лейтенант даже на попрощался с Бадиковым, а, вспомнив об этом при взлете, подумал: «Ну, пустяки какие... Ненадолго же лечу, вернусь...»

Ему часто приходилось вылетать в разведку иозвращаться в положенный срок, никого не встретив в воздухе. Однако еще с раннего утра он, как и другие, видел, что день наклевывается ясный. Небо было хотя и облачным, но с большими прозорами бледной голубизны. А когда «ястребок» прорезал два слоя облаков, небо стало гораздо просторнее, чище... И вдруг разглядел в нем Свиридов три мутные, прячущиеся в облаке тени самолетов.

«Может быть, свои, не фашистские?»

Послушный опытным рукам, лежавшим на штурвале, «ястребок» пошел на сближение. Свиридову просто хотелось убедиться, что это свои, в чем он был почти уверен, однако чем ближе он подходил, тем яснее видел: враги.

С земли он узнал бы их по характерному шуму моторов, но теперь рев «ястребка» заглушал все звуки кругом. Врагов выдал их желтый камуфляж. Глаза искали на ближайшем из них белый круг с черной свастикой в середине и нашли. И тут же пришло решение напасть.

Чтобы напасть, нужно было набрать высоту. Лейтенант быстро взял штурвал на себя—«ястребок» резко взмыл кверху.

Настал момент. Свиридов выбрал бомбардировщик, который был ведущим в звене, и спикировал на него. Затяжная очередь трассирующих крупнокалиберных пуль пронзила правую плоскость. Тяжелая машина начала оседать, но он, увлеквшись, продолжал тратить на нее свой запас патронов.

Фашистский бомбардировщик зарылся в тучах и исчез из виду. Упадет ли, или дотащится до удобного места посадки,— этот бомбардировщик был уже выведен из строя, а два других?

Свиридов присмотрелся к ним и увидел, что они, потеряв ведущего, изменили направление и уходят от него во всю силу моторов.

Он полетел вслед за ними.

«Врешь, не уйдешь, гад!»— подумал лейтенант, заметно покрывая расстояние до ближайшей вражеской машины.

Сбитый им бомбардировщик был третьим по счету в списке его побед; этот, впереди, входил в шеренгу четвертым. Одного, из двух прежних, он протаранил, слегка только погнув свой винт. Он уже видел, что этот, стремившийся от него уйти, будет вторым...

И такое было чувство уверенности, что его ждет и здесь полная удача... Однако случилось не совсем так, как ожидалось.

Была ли допущена какая-то небольшая, но роковая ошибка им самим, когда он повис уже над хвостом вражеского самолета и приготовился всем телом к удару, или немецкий летчик в какую-то долю секунды чуть-чуть взял влево, но только что винт «ястребка» ударили

в хвост бомбардировщика, причем от руля глубины посыпались вниз обломки, как Свиридов почувствовал, что левое крыло его «ястребка» тоже ранено.

От толчка Свиридов едва усидел на месте. Потом точно судорожная дрожь охватила все тело «ястребка»; этого не было в тот первый раз, когда он применил таран. И хотя лейтенант видел, как от его удара пошел вниз бомбардировщик, но радость не появлялась: он чувствовал, что, дрожа и забирая влево, стала снижаться и его машина. Он понял, что левое крыло повреждено, что о полете дальше или на свой аэродром нечего было и думать, что единственное, о чем он может мечтать теперь,— это посадить свой самолет где-нибудь так, чтобы он не разбился и не скончался его самого под обломками.

Мгновенная оторопь, от которой даже виски под шапкой вспотели, сменилась в нем предельной собранностью: впереди была смерть, если он допустит хоть малейшую ошибку. Где-то нужно было посадить самолет, но где именно? Внизу видны были только скалистые сопки, обрывы, почти отвесные и потому не покрытые снегом: вся земля от этих каменных обрывов казалась полосатой, как огромнейший матрас. А времени для выбора места посадки отводилось в обрез: самолет мог еще плавно снижаться, но лететь он уже не мог.

Свиридов был так полон острой мыслью спасти самолет, а значит, и себя, что не вспомнил даже о сбитом им только что бомбардировщике. На какую из этих сопок внизу он упал, ему было уже безразлично. И велика была его радость, когда он заметил какую-то ровную площадку между гор. Он не сразу понял, что это замерзшее и покрытое снегом озеро; он видел только, что здесь можно совершить посадку. И вот «ястребок» коснулся колесами снега, протащился в нем животом десятика два метров и стал.

Снег лежал неровно: местами меньше, местами больше, мотора уже не стало слышно; тишина и сознание, что жив, что машина цела, что ее можно будет еще исправить и пустить в дело. Нужно было только осмотреться, заполнить местность, сообразить, как и в какую сторону отсюда выйти, чтобы добраться к своим.

Свиридов сдвинул на лоб очки, снял с себя парашют, отодвинул колпак с кабины и огляделся, насколько мог.

Горы обступили озеро со всех сторон, но скаты их, поросшие деревьями, были не круты. Их складки, где снег казался особенно глубок, густо синели. Никак не представлялось, чтобы ходили где-нибудь здесь человеческие ноги, до того нетронутая стояла кругом тишина.

И вдруг тишину эту прорезал выстрел. Это было так неожиданно, что Свиридов не поверил себе: выстрел или, может быть, треснул лед... Но спустя две-три секунды еще выстрел, и даже как будто пуля ударила о самолет. Тогда лейтенант выхватил из кобуры свой пистолет и зажал в руке, в то же время высунувшись из кабины.

Первое, что он увидел, была огромная собака — мышастого цвета дог; двух фашистских летчиков, бежавших тяжело следом за нею, он увидел в следующий момент, и только потом бросился ему в глаза тот самый бомбардировщик, который был так недавно им сбит: немецкий пилот посадил его в другом конце того же озера.

Врагов было двое, с огромной собакой, которую вздумалось им взять в полет, и собака эта уже подбегала неловкими прыжками, увязая кое-где в снегу. Но не в нее, а в переднего из летчиков, который стрелял, три раза подряд выстрелил Свиридов, и тот упал: а дог был уже в двух шагах, и лейтенант едва успел укрыться от него, закрыв колпак кабины.

Дог рычал и скреб передними лапами колпак кабины. Низко обрезанные круглые уши он прижал к широколобой квадратной голове; шерсть на затылке поднялась дыбом. Яростные зеленые глаза, огромные белые клыки, пена на красных брызжах, рычание, перешедшее в вой, — все это за стеклом, тут же, и видно, как подбегает второй летчик, высокий и грузный.

Но вдруг дог, стремившийся вскочить на гладкий верх машины, сорвался и опрокинулся на спину, в снег. Точно толкнуло что Свиридова тут же отбросить колпак кабины, перегнуться через борт и выстрелить. Огромная собака забилась на снегу, окрашивая его своей кровью. Встать она не могла уже больше: голова ее была прострелена. Длинным языком она лизала снег.

А фашист, толстощекий, грудастый, зеленоглазый, всем своим внешним обликом разительно похожий на своего дога, был уже близко и кричал:

— Погоди, русский, погоди-и!

Русские слова угрозы — это было так неожиданно,

что Свиридов тут же выскочил из кабины навстречу врагу.

Он выстрелил в его сторону, но, промахнулся ли от волнения, или только слегка ранил, не понял: фашист, рыча по-дожки и бормоча: «Не уйдешь, врешь!» — опрокинул его и прижал всей тяжестью своей шестипудовой туши.

Свиридов собрал свои силы, насколько позволило это сделать кожаное пальто, и сбросил с себя гитлеровца. Но при этом пистолет выпал из его руки, а фашист, оказавшийся через момент снова сверху, обеими руками схватил его за горло.

Видя, что вот-вот конец, что уже не хватает воздуха, Свиридов подтянул левое плечо и вывернул правое из-под навалившегося на него врага. Тогда пальцы фашиста разжались, и лейтенант не только сильно втянул в себя свежий морозный воздух, но, вспомнив о пистолете, начал нашаривать его около себя в снегу.

Однако гитлеровец предупредил его. Руки он разжал затем, чтобы вытащить финский нож из кармана, и торжествующими стали его круглые зеленые дожки глаза, когда он вонзил нож в лицо лейтенанта и резанул от переносья вдоль левой щеки и нижней челюсти.

Острая боль отдалась в сердце лейтенанта. Нож в руке врага — это была уже явная смерть. И всплыл в памяти дед, как-то раз сказавший: «Если лихой человек, беспощадный, тебя осилил, вдарь его ногой в причинное место». Свиридов шевельнул правой ногой, согнутой в колене, и из последних сил ударили немца коленом между раскоряченных ног.

«Лихой человек» вскрикнул глухо и обмяк, опустив руку с ножом, занесенную было для второго, смертельного уже удара, а лейтенант тем временем нашарил подмятый им под себя и вдавленный в снег пистолет. Не теряя ни одного мгновенья, он выстрелил туда, куда пришлось дуло пистолета, в левый бок фашиста — и тут же почувствовал себя свободно: враг сполз с него совсем, он же отодвинулся по снегу в сторону и сел, не имея сил подняться на ноги.

Так сидел он несколько минут. Он глядел в глаза смертельного врага, которые стекленели, туманились, но не закрывались, и, подтягиваясь рукой до чистого снега, прикладывал его к ране; когда же комок снега багровел от крови, отбрасывал его и брал другой.

Дог перестал уже дергать лапами, застыл. Неподвижно лежал в снегу, шагах в тридцати, другой гитлеровец. Неподвижно, как на аэродроме, стояли одна в виду другой две покалеченные воздушные машины: одна со свастикой, другая с красной звездой.

Всюду на льду озера было тихо, кругом в горах было тихо, вверху, в облачном небе, было тихо. Все живое, что здесь было теперь,— он один, лейтенант Свиридов, с лицом, глубоко разрезанным финским ножом.

2

Боль была острая, не утихающая, гулко отдающаяся в голове.

Сжать зубы оказалось невозможным, так как ранена была и верхняя десна во всей левой стороне; и часть нижней, и он долго выплевывал кровь.

Но нужно было все-таки встать и, не теряя времени, идти в сторону своих землянок: первозимний день короток везде, а здесь, в тундре, он короче, чем где бы то ни было.

Свиридов подошел к своему «ястребку» и взял из него то, что считал самым нужным в дороге: бортпаек, карту, авиакомпас. Перезарядил пистолет, оглядел в последний раз машины, свою и чужую, и трупы врагов и пошел прямо на север, чтобы выйти к морю.

Он то проваливался в глубокий снег, то выбирался на лысый обледенелый камень обрывистых ребер сопки, то застревал в ползучих деревьях, похожих на кустарник, и не успел еще перевалить через сопку, как уже надвинулся вечер.

Ему казалось, что отсюда, с порядочной высоты, он должен будет увидеть темную полосу моря, как приходилось видеть ее с истребителя, но не было ничего видно, кроме других сопок, густо уже синевших во всех своих впадинах.

Свиридов старался припомнить, как летел в начале полета, пока не встретился с немецкими бомбардировщиками, и куда повернул потом, чтобы по местности определить, хотя бы приблизительно, где он находится. Но в памяти это стерлось, заслонилось другим, а карта, взятая им, ничего не разъяснила: на ней тут было просто белое пятно.

Разогревшись от ходьбы, Свиридов не чувствова-

холода и, когда совсем окончился день, остановился и сел прямо на снег. Он очень устал и от борьбы с врагом, и от потери крови, и от ходьбы, но когда вздумалось ему хоть немного подкрепить силы шоколадом, который был в его бортпайке, оказалось, что он не мог этого сделать. Боль во рту не позволяла сжать зубы, которые к тому же качались. Он подержал на языке кусок шоколадной плитки и выплюнул.

Он знал, что ночь не будет темной, что небо на севере вот-вот рассветится сплохами, и сплохи начались, как обычно, каким-то мгновенным разрывом темного неба и заколыхались радугой цветов. Отсюда, с пустынной сопки, это было гораздо более величественно, чем оттуда, от своих землянок, однако не менее непонятно.

Снежные шапки сопок заиграли то голубыми, о розовыми, то палевыми полосами и пятнами, и лейтенант Свиридов следил за этими переливами тонов, точно находился в картинной галерее. Но усталость постепенно тяжелила и тяжелила веки, и он задремал, прислонясь спиной к камню.

Он именно дремал, а не спал, потому что в одно и то же время отшатывался куда-то в провалы сознания и какой-то частью мозга сознавал, что он на сопке один, что кругом снежная пустыня, что тянется ночь, что переливисто блещет северное сияние.

Очнулся и откинул голову, когда что-то коснулось его израненного лица, отчего внезапно стала острее боль. Он даже приподнялся несколько на месте, огляделся.

Недалеко от себя, на камне обрыва, он заметил две светящиеся точки рядом: их не было прежде. Они пропали было на миг и опять зажглись. Он догадался, что это глаза совы, белой большой полярной совы, что это она пролетела около него так близко, что задела его крылом, а может быть, даже села на его плечо.

Потом раздался довольно резкий в тишине и неприятный крик. Это другая такая же сова пролетела над ним и села недалеко от первой. Скатав снежок, Свиридов бросил его в сторону двух пар светящихся глаз. Совы улетели, и крик их послышался издали.

Свиридов встал и пошел дальше, однако свет сполохов, достаточный, чтобы идти по ровному месту при не глубоком снеге, здесь, на стремнинах сопки, оказался очень обманчивым по своему непостоянству, по прихот-

ливой игре тонов. Лейтенант проваливался чуть не по пояс в снег там, где ему представлялось твердое место, и натыкался на деревья, тщательно обходя их резкие тени.

Кончилось тем, что через час он сел снова, чтобы дождаться рассвета. Опять дремал; опять над ним и около бесшумно вились белые совы, а он, прогоняя их снежками, вспомнил случай, бывший на его московской квартире.

Там на балконе зимой Нюра оставляла кое-что из продуктов, и вот замечено было ею, что исчезали бесследно то сливочное масло, кусками по сто граммов, то ветчина, нарезанная и накрытая тарелкой, то даже растерзана была курица, приготовленная для бульона.

Грешили на чьего-нибудь кота, хотя и не понимали, как мог он взбираться на балкон шестого этажа, и вдруг нечаянно застали на балконе ворону. По описанию Нюры, это была какая-то необыкновенно большая ворона, видимо, очень опытная в подобных кражах. Масло, например, она аккуратно освобождала от оберточной бумаги; тарелку с ветчиной, тоже аккуратно и стараясь не стучать, спихивала клювом; у курицы она съела только печенку и сердце...

Грезилась московская квартира, Нюра, Катя... Представлялось, как воентехник Бадиков и другие товарищи ждали его возвращения, а теперь решили уже, конечно, что он погиб...

Тяжелели веки, дремалось, ухали совы, колдовали сполохи на круглых шапках сопок — в этом прошла ночь, а чуть свет он двинулся дальше, справляясь со стрелкой компаса.

Все казалось, что море где-то не так далеко, что вот еще час, два, пусть три, ходьбы, и он его увидит. В это хотелось верить, и в это верилось. А между тем чем дальше, тем все труднее становилось идти: деревенели ноги.

Свиридов понимал, что нужно было бы подкрепиться, хотя не ощущал еще сильного голода. Но когда снова вынул плитку шоколаду и положил в рот, то убедился, что не только жевать, даже и сосать было нестерпимо больно, и он бросил всю плитку в снег.

Это он сделал с досады, но потом уже не досада, а только ощущение непосильной тяжести всего, что было на нем и с ним, заставило его выкинуть из своего борт-

пайка две банки консервов, совершенно ему не нужных, раз он не мог жевать, то тяжелых.

Был ли это обман чувств, или настойчивое желание убедить себя, что он поступил как следует, но несколько времени потом Свиридов шел более бодро.

У родника, бывшего из-под тонкого льда и пропадавшего в снегах, он остановился и начал пить из горсти. Глотать было больно, однако пить очень хотелось; кроме того, холодная вода освежала рот. Около родника просидел больше часа и раза три принимался пить.

Но когда Свиридов пошел дальше, он вздрогнул, увидев совсем недалеко от себя ожившего добра. Так показалось по первому взгляду: медленно, так же, как и он, идет шагах в десяти в крутящейся поземке мышастый немецкий щенок.

Рука лейтенанта чуть не потянулась к пистолету, но он разглядел острые уши, пухлый хвост и понял, что это волк.

Матерый волк легко ставил лапы, не проваливаясь на слабом месте, и поглядывал на него, казалось бы, вполне добродушно. Шел Свиридов, шел рядом волк, точно старый знакомый, и лейтенанту поначалу это не казалось неприятным.

Он не знал, правда, как ведут себя полярные волки, о своих же рязанских волках он с детства слышал, что они на человека не нападают. Пробовал останавливаться, чтобы дать волку возможность уйти куда-нибудь, но волк останавливался тоже.

Между тем, несколько оживленный холодной водой, Свиридов снова начинал уже терять силы. Ему даже казалось, что у него жар: во всем теле начиналась ломота. И он понял вдруг, что волк идет с ним неспроста, что хищник видит, насколько обессилен человек, вот-вот упадет, чтобы не встать больше. Тогда он станет его законной добычей.

Свиридов остановился. Волк поглядел на него и присел на задние лапы, для приличия отвернув морду.

Свиридов медленно вытащил пистолет, проговорив при этом: «Ого, тяжелый какой!» — так же медленно поднял его и нажал гашетку. Он не целился, он выстрелил только затем, чтобы испугать волка. И хищник, действительно испуганный, помчался от него во всю мочь и пропал там, в сопках.

Поземка уже разыгралась в метель. И хуже всего

вышло, что это случилось к концу дня. Надежда увидеть море — было все, чем он жил теперь, но метель била в глаза, метель крутилась около, застилала все кругом, принесла с собой резкий холод.

Свиридов нашел место, где можно было сесть спиной к ветру, и, когда совсем стемнело и потом в миллионах снежинок перед ним переливисто засверкала радуга северного сияния, остро стало жаль ему всего, что он оставит, замерзнув тут.

Очень хотелось спать, и страшно было заснуть. Он знал, как замерзают люди во сне: сначала приходит сон, потом смерть. Он силился убедить себя, что слишком тепло одет для того, чтобы замерзнуть, но в то же время чувствовал озноб, сменивший недавний жар.

Когда он покидал свой истребитель, то думал, что придет к своим и потом прилетит сюда, на озеро, с воентехником Бадиковым и другими; что его «ястребок» будет исправлен и вновь поднимется в воздух, а может быть, исправят и немецкий бомбардировщик. Теперь ему думалось, что на озеро непременно налетят враги.

Боль в разрезанных деснах показалась ему теперь сильнее: все зубы ломило. Каждую небольшую тень впереди или сбоку он принимал за вернувшегося волка: сидит и смотрит, жив ли еще человек, или уж можно начать его рвать клыками, такими же огромными, белыми, как у добра.

Представился довольно ярко тот сон, который он видел в последнюю свою ночь в землянке: мечется хохлатый жаворонок с красными от ужаса большими глазами, и слышен его умоляющий голос: «Я — жаворонок... Я умею говорить по-человечески... И вот меня хотят изжарить!» Потом очень непонятно как-то Катя очутилась у него на коленях и все допытывалась, какие бывают жаворонки и как поют... Он прижался раненой щекой к ее мягким волосам, и от этого боль утихала.

Несколько пар совиных глаз то здесь, то там, то около — видел ли он, или чудились они, не был твердо уверен в этом Свиридов. Но он почти чувствовал, как совы садились тут где-то, прилетая вместе с метелью. Они помнили, должны были помнить о нем с прошлой ночи; они, как и волк, не могли упустить своей добычи.

Метель бушевала всю ночь, и странно было Свиридову увидеть при первых признаках близкого рассвета, как она утихала, как порывы ее все слабели... Когда можно

уже было разглядеть стрелку компаса, он пошел снова.

Метель местами намела сугробы, но местами обнажила кочки тундры, отчего идти стало труднее,— так ему казалось, но он просто обессилел: ночной отдых если и подкрепил его, то ненадолго. Непосильной тяжестью лежало на плечах кожаное пальто... Едва передвигая ноги, он думал, что бы такое выбросить на снег, чтобы было легче идти. «Пистолет?.. Нельзя: может опять появиться около волк... Авиакомпас?.. Тоже нельзя: иначе не выйдешь к морю...» Он пошарил в кармане, нашел там карандаш, совершенно ненужный ему теперь, и выкинул.

Он шел, как в бреду, едва переставляя тяжелые ноги, иногда взглядываясь туда, вперед, где должно было показаться море. И когда оно показалось наконец к вечеру этого дня, Свиридов был уже до того слаб, что не почувствовал радости. Но почти тут же заметил темный силуэт человека, первого человека за эти несколько дней, и первое, что он сделал,— вытащил свой неимоверно тяжелый пистолет.

Так как последние люди, которых он видел, были фашистские летчики, непременно хотевшие его убить, то и этот, новый, показался его затуманенным глазам тоже врагом. А через минуту он, терявший сознание от усталости, был в заботливых руках матроса Северного флота, на помощь которому подходили трое других матросов



Валентин Овечкин

УПРЯМЫЙ ХУТОР

В феврале 1943 года фронт остановился на Миусе. Рота Алексея Дорохина отрыла окопы в садах хутора Южного. Глубоко промерзшую землю долбили ломами и пешнями, взятыми у местных жителей. Хутор стоял на взгорье — одна длинная, извилистая улица, два ряда хат; усадьбы нижнего порядка круто спускались к широкому, ровному, как стол, лугу. Метрах в ста от края усадеб вилась по лугу замерзшая, занесенная снегом вровень с берегами речка. За речкой, за лугом, в полукилометре — такое же взгорье и хутора. Там закрепились немцы.

Окопы нужны были для укрытия от артиллерийского огня и бомбёжек, а когда было тихо, бойцы отогревались в хатах. Гитлеровцам, поспешно удиравшим из хутора, не удалось сжечь его дотла. Сгорели только камышовые крыши, кое-где выгорели деревянные рамы в окнах, а стены, сложенные из самана — земляного кирпи-

ча, и потолки, густо смазанные толстым слоем глины, огонь не взял.

— Не берет ихний огонь русскую землю,— говорил, тряся головой, старик, хозяин хаты, где расположились лейтенант Дорохин со старшиной, телефонистами и связными.— Это, что ж, дело поправимое — крыша. А пока морозы держат — и потолок не протечет. Жить можно.

Со стариком ютились в хате невестка-солдатка и мальчик лет двенадцати, внук. Мальчик бегал за хутор, где упал сбитый зенитками «юнкерс», таскал оттуда листы дюраля, плексигласа. Старик заделал окна досками и плексигласом, на косяк двери навесил дверцу с разбитого ЗИСа и уже поглядывал наверх, соображал что-то насчет крыши. Под копной старой, гнилой соломы у него было припрятано с десяток бревен довоенного еще, видимо, запаса. Три дня похаживал он вокруг копны, не решаясь обнаружить, на искушение ротным поварам, свой клад. Наконец не вытерпел, вытащил два бревна, начал их обтесывать на стропила, вязать.

— Не рано ли, дед, вздумал строиться? — спросил его Дорохин.

— А чего время терять, товарищ лейтенант? Не будете же больше туда-сюда? Или на фронте неустойка?..

— Отступления не предвидится. Я не о том. На самой передовой живешь. Угодят снарядом — пропали твои труды. Обожди, пока продвинемся дальше.

— Пока продвинетесь — у меня уж все будет наготове. Вот обтешу стропила, повяжу их на землю. Камыши нажну на речке.

— Речка вся простреливается. Видишь, где немцы? На тех высотках. Из ручных пулеметов достают.

— Ночью, потихоньку. Днем я на речку не полезу... Только вы уж, товарищ лейтенант, будьте добреньки, прикажите вашим поварам, чтоб не зарились на мой лесок. От немцев прятал, от своих не таюсь. Оно-то, конечно, поварам трудно, местность у нас безлесная, соломой ваши кухни не растопишь, но и нам теперь, как фронт пройдет, ох нелегко будет с нуждой бороться! Каждая палка в хозяйстве понадобится... Вон в том дворе, через две хаты, — куча кизяков. Пусть берут на топливо. Хозяев там нет. Хозяин в полиции служил, сбежал... Эти обрезочки можно бы дать вам на дрова. А впрочем, я их тоже в дело употреблю. Распущу на рейки — боронку сделаю легкую, на одну корову.

«Жаден старик,— подумал Дорохин,— и корову где-то прячет. Крынку молока бойцам жалеет дать».

— Где же ваша корова? — спросил он.

— Отогнали на хутор Сковородин. Родичи там у нас. Подальше от фронта. Корову тут держать опасно.

— А невестке, внуку не опасно жить на передовой? Почему их не отправил к родичам? Коровой больше дорожишь?

— Не отправил, да... Попробуйте вы их отправить, товарищ лейтенант! Был у нас промеж себя семейный совет. Нельзя жилище бросать без присмотра. Все же хата, хоть полхаты осталось! Садик у нас, деревья — чтобы не вырубили. Копешка сена вся для корму — как это все бросить? Я говорю: «Буду здесь жить, пока передовая не пройдет». А Ульяна говорит: «Я вас, папаша, одного не оставлю. Вдруг что-нибудь с вами случится?» А Мишка говорит: «И с дедушкой, и с тобой может случиться, а меня возле вас не будет? Не пойду отсюда!» Так и порешили — держаться кучкой, семейство небольшое. Было большое. Два сына на фронте... А корову как не жалеть, товарищ лейтенант? Весна придет, тягла нет, чем пахать-сеять? На корову вся надежда...

Огрубел, что ли, Дорохин за полтора года войны, притутились в нем инстинкты хлебороба — речи хозяйственного старика не вызывали у него сочувствия. Ему-то рано было думать о наступающей весне, о пахоте. Дошли только до Миуса... Вот здесь, на снегу, на этом самом месте, где обтесывал старик бревна, лежали три дня тому назад прикрытые плащ-палаткой его лучший командир взвода сержант Данильченко, с которым шел он от Сталинграда, и замполит Грибов...

— Бревна мы твои, дед, не тронем, не волнуйся. А вот этими стружками прикажи невестке нагреть воды. Да побольше. Нам бы хоть голову помыть, в ба́не давно не были... Хозяин! Должен бы знать солдатскую нужду!

— Извиняюсь, товарищ лейтенант! Это мы мигом сообразим. Ба́ньку сообразим! Вон в том сарайчике поставим чугунок, натопим. Котел есть. Ульяна! Поди сюда! Слыхала, об чем речь? Шевелись, действуй! Через час доложи товарищу командиру об выполнении приказания!.. Воевал и я, товарищ лейтенант. Много времени прошло. Еще в японскую, в Маньчжурию. Отвык, конечно, в домашности, обабился... Разведчиком был!..

Утром, когда Дорохин, проведя ночь в окопах с на-

блюдателями, пришел в хату позавтракать, старик — звали его Харитоном Акимычем — представал перед ним с георгиевской медалью, приколотой к замызганной стеганке.

— А-а... Сохранил?

— Сберег... Не для хвастовства прицепил — для виду, чтоб ваши ребята меня приметили. Проходу нет по хутору. Пароль, то-се. Ночью часовые чуть не подстрелили. За шпиона переодетого принимают меня... А мне теперь придется по всяким делам ходить.

— Ночью нечего болтаться по хутору.

— Так днем-то вовсе нельзя — неприятель заметит движение... У нас ночью общее собрание было. В поле вон под теми скирдами.

— Какое собрание?

— Колхозное. Правление выбирали.

— Колхозное? Где же он, колхоз-то?

— Как — где? Вот здесь, в этом хуторе. Кроме полицаев, что сбежали, в каждом дворе есть живая душа. Не в хате, так в погребе.

Старшина Юрченко подтвердил:

— В каждом дворе, товарищ лейтенант. Не понять — передовая у нас или детские ясли? На том краю, где третий взвод разместили, у одной хозяйки семеро детей. Слепили горку из снега, катаются на салазках. Не обращают внимания, что хутор, как говорится, в пределах досягаемости ружейно-пулеметного огня. В бинокль оттуда же все видно как на ладони! Немец боеприпасами обеднял, экономит, а то бы!..

Старик продолжал рассказывать:

— Членами правления выбрали Дуньку Сорокину и Марфу Рубцову... А в председатели обратили, стало быть, меня.

— Тебя? Ты председатель?

— Начальство! За неимением гербовой... Есть еще один мужик на хуторе, грамотнее меня, молодой парень, инвалид. Ну, тот тракторист. Может, по специальности придется ему поработать.

— А тракторы есть у вас?

— Тракторов нету. Угнали куда-то, — старик махнул рукой, — еще при первом отступлении. Успеют ли к весне повернуть их сюда?..

— Как ваш колхоз назывался тут до войны?

— «Заря счастья». Так и оставили. Назад нам дороги

нету, товарищ лейтенант. Как вспомнишь, что у нас было при надувальном хозяйстве...

— При каком хозяйстве?

— Дед, должно быть, хочет сказать — при индивидуальном хозяйстве,— пояснил старшина.

— Вот то же я и говорю — надувальное хозяйство. Кто кого слопает с потрохом. К этому нам возвращаться несподручно... Так что, можно сказать, по первому вопросу сомнений не было. Единогласно постановили: «Колхоз «Заря счастья» считать продолженным...». А вот чем пахать будем? Два коня у нас есть. Одры. Немцы бросили. И двенадцать коров осталось. На весь хутор. На восемьдесят пять дворов. А земли — семьсот пятьдесят гектаров...

— Ничего у вас, дед, сейчас с колхозами не выйдет,— сказал Дорохин.— В штабе полка был разговор: если задержимся здесь и будем строить долговременную оборону — все население с Миуса придется вывезти подальше в тыл. Километров за пятьдесят. Чтоб не путались у нас тут под ногами.

Харитон Акимыч подсел к столу, за которым завтракали Дорохин и старшина, долго молчал, тряся головой. Старик был крепок для своих восьмидесяти лет, невелик ростом, тощ, но не горбился, в руках его чувствовалась еще сила, с лица был свеж и румян и только сильно тряс головой, может быть, от старой контузии. Похоже было, все время поддакивал чему-то — словам собеседника или своим мыслям.

— Вы из какого сословия, товарищ лейтенант? — спросил он, помолчав.— Из крестьян или из городских?

— Из крестьян. Был бригадиром тракторной бригады.

— В нашей местности весна в марте открывается. Уже половина февраля... Чем год жить, если не посеем? Как можно от своей земли идти куда-то в люди?

— Вам отведут землю в других колхозах во временное пользование. Без посева не останетесь.

— Посеять — то уж и урожая дождаться, скосить, обмолотить, до осени жить там. А тут как же? Вы, может, раньше тронетесь. Пары надо поднимать под озимь, зябь пахать. А люди, тягло — там. Разбивать хозяйство на два лагеря? Нет, для такого колхоза я не председатель, что бригада от бригады на пятьдесят километров!.. Земля-то наша, товарищ лейтенант, вся вот туда, назад,

в тыл. Окопов там не будет. Никому не помешаем. Ночами будем пахать!..

Со двора послышалось не первый раз уже за утро:
— Воздух!

День начинался беспокойно. Только что пятерка «юнкерсов» отбомбилась над расположением соседнего спраша полка. Еще горело что-то там, в селе Теплом.

Дорохин, старшина и связные выскочили из хаты. Дорохин захватил котелок и, стоя под стеной хаты с теневой стороны, глядел в небо, дохлебывая жирный мясной кулеш.

— Эти, кажись, прямо к нам... Мишка! Ульяна! — за-кричал дед с порога в хату. — Не прятесь за печку! Там хуже привалит! На двор, дураки!

— Марш к нам в окопы! — скомандовал Дорохин. — Вон в тот ход сообщения... Довольно, не бегать! Замри!

В голубом морозном ясном небе разворачивалась над хутором девятка пикирующих бомбардировщиков Ю-87.

— Лаптежники... Сейчас устроят карусель, — сказал старшина. — Вот, начинают...

— Пригнись! — толкнул Дорохин деда в спину и сам спустился в окоп.

Головной бомбардировщик, нацелившись в землю неубирающимся шасси, похожим на лапы коршуна, взревев сиренами, круто пошел в пике.

— А, шарманку завел! — погрозил ему кулаком старшина. — Шарманщики! Пугают... Бомб маловато.

Для первого захода бомб у «юнкерсов» оказалось достаточно. Небольшие, десяти-двадцатикилограммовые, бомбы сыпались густо, рвались пачками. В садах будто забили фонтаны из снега с землей.

— Ну, это еще ничего, — сказал Харитон Акимыч, выглядывая из окопа и сильнее обычного тряся головой. — Давеча один кинул бомбу на выгоне — с тонну должно быть! Хозяева! На такой маленький хутор такие агромадные бомбы кида...

Трах! Трах! Трах! Трах!.. — взметнулись один за другим четыре фонтана в соседнем дворе!

— Лежи, председатель! — потянул Дорохин за ногу деда. — Зацепит осколком по голове — хватит с тебя и маленькой бомбы. Хозяйственник какой!

Хутор ощетинился огнем. Били из окопов станковые и ручные пулеметы, трещали винтовочные выстрелы,

били откуда-то из глубины обороны зенитки. Один «юнкерс» на выходе из пике закачался, клюнул носом, низко потянул за бугор. Остальные продолжали свою карусель — один, сбросив бомбы, взмывал вверх, разворачивался, другой заходил на его место, пикировал.

— Всыпали одному! — закричал старшина. — Смотрите, товарищ лейтенант, захромал! Ага! Удираешь!

— Не удерет! Не в ту сторону завернул с перепугу. Прямо на зенитки пошел. Там ему добавят!

За вторым заходом бомб сыпалось меньше. За третьим — что-то падало с неба на землю, но не рвалось.

Старик вылез на бруствер.

— Это что ж они такое кидают, а? К чему это? Вон бочку кинули. А то что летит? Еще бочка... Обормоты!

— Это тебе, дед, на хозяйство в колхоз! — захохотал Дорохин. — Халтурщики! Где же ваши боеприпасы? Довоевались?

...В чистом голубом небе таяли белые облачка от разрывов снарядов. «Юнкеры» ушли. Еще один бомбардировщик, когда ложились они уже на обратный курс, заковылял, задымил, но сразу не упал. Отстав от ушедших вперед, долго тянул за собой по небу черный хвост дыма, пока наконец показалось и пламя. Свалившись на крыло, пошел вниз. Упал он далеко, километрах в пятнадцати, — к небу взметнулся огромный столб дыма. Спустя несколько секунд донесся глухой, тяжкий взрыв...

Пахло гарью. Где-то дымило. Через улицу, напротив, во дворе кричала женщина:

— Митя, родной!.. Что они с тобой сделали! А-а-а!..

— У Гашки Морозовой сына убило, — сказал Харитон Акимыч. — А может, поранило... Ульяна! Сходи к ней, помоги.

— Пошли туда санитара! — приказал Дорохин старшине.

Взрывом небольшой фугаски, упавшей во дворе, разворотило угол хаты. Старик, сняв шапку, яростно скреб затылок, соображая, чем и как заделать угол.

— Такого уговора не было, чтоб и стены валить... Ах, ироды, губители!

— Вот тебе и колхоз! — сказал Дорохин. — Убирайтесь вы отсюда, пока целы-живы! Видишь, боеприпасов им еще не подвезли, бочками швыряются, а как закрепится оборона — тут такое будет!..

— Как же это все покинуть, товарищ лейтенант? Когда на глазах, ну что ж, развалили — починю, еще развалят — починю! А без хозяина что же тут останется?..

— Воздух!..

— Ложи-ись!..

Какой-то шальной «мессер», возвращаясь на аэродром, снизился, ураганом пронесся над хутором, расстреливая остаток боекомплекта в людей, закопошившихся во дворах. Запоздало застучали вслед ему пулеметы и сразу умолкли. Немец, прижимаясь к земле, перевалил за бугор, пошел лощиной — и исчез...

— С цепи сорвался! — сказал, поднимаясь с сугроба, Харитон Акимыч. Из трясущейся бороды его и с лысины сыпался снег.— Черти его кинули! Чтоб ты там в балке носом землю зарыл!

В наступившей тишине с края хутора донесся отчаянный вопль женщины.

— Марья Голубкова, кажись,— приложив ладонь к уху, прислушался старики.— Та, про которую ваш старшина говорил: семеро детей... Что говорить, жизнь нам тут предстоит несладкая, товарищ лейтенант. Но как же быть? Лучше бы с ходу продвинулись еще хотя бы километров на полсотни туда!

— И там бы в каком-то селе остановились. Там тоже народ, жители... Нет, сам буду просить наших интендантов, чтобы подогнали ночью машины! Погрузим вас со всем вашим баражлом и отвезем подальше в тыл! Что это за война, когда вокруг тебя бабы голосят?

На Миусеостояли долго. Здесь застала Дорохина и весна — все в том же хуторе Южном.

Бывает на войне — и разбитые отступающие части противника, и наступающие войска изматываются так, что ни те, ни другие не могут сделать больше ни шагу. Где легли в какую-то предельную для человеческой выносливости ночь, там и стабилизировался фронт. Тут дай один свежий батальон! Без труда можно прорвать жиденькую оборону, наделать паники, ударить с тыла! Но в тсм-то и дело, что свежего батальона нет ни у тех, ни у других.

Так было на Миусе в феврале. Весной стало иначе. Дороги высохли, подтянулись тылы. Пришло пополнение. Оборону насытили войсками, огнем, боевой техникой. Миус-фронт. Командование готовило его к крупным операциям.

Все ушло, зарылось в землю. В каждом батальоне было открыто столько километров ходов сообщения, сколько и положено по уставу, блиндажи надежно укрыты шпалами и рельсами с разобранных железнодорожных путей, каменными плитами, землей. Можно было пройти по фронту из дивизии в дивизию ходами сообщения, не показав и головы на поверхность.

И немцы имели достаточно времени для того, чтобы привести себя в порядок.

Теперь уж хутора и села на передовой казались совершенно опустевшими. Ни малейшего движения не заметно было днем во дворах и на улицах. Сунься днем по улице какая-нибудь машина или подвода — сейчас же по этому месту начинали бить тяжелые минометы и орудия.

И все же в хуторе Южном, на самой передовой, ближе которой метров на триста к немцам было выдвинуто лишь боевое охранение, жили люди. От хутора уже почти ничего не осталось — одни развалины. Люди жили в погребах. Днем прятались, а с наступлением темноты вылезали, копали огороды, сажали, сеяли, у кого что было — картошку, свеклу, кукурузу, просо. Где-то в балке, в нескольких километрах от хутора, был оборудован полевой стан колхоза. Там находились пахари, с коровами и единственной парой лошадей, обрабатывали колхозные поля, тоже по ночам, а на день укрывали скот в каменоломнях.

Не однажды жителей хутора Южного выселяли в тыл. Подходили ночью машины, забирали людей, солдаты проверяли по всем закоулкам — не остался ли кто? А спустя некоторое время хуторяне, по одному, кучками, с узлами и налегке, возвращались опять домой. С вечера будто никого не видно было в хуторе, а утром Дорохин, приглядевшись, замечал вдруг, что полоски вскопанной земли на огородах стали шире. Уже вернулись! Где-то прячутся! Не солдаты же его занимаются по ночам огородничеством!

Кончилось тем, что командир дивизии, инспектируя оборону, застал как-то Харитона Акимыча с колхозниками ночью в хуторе и, выслушав их горячую просьбу не срывать колхоз с родных мест в весеннюю пору, сказал:

— Ладно, живите... Для вас, для таких старателей, эту землю освобождаем. Только береги людей, предсе-

датель! Дисциплину заведи военную! Маскировка, никаких хождений! За ребятишками — особый догляд! А то еще станут бегать в окопы, гильзы собирать. Малышей, таких, что не нужны здесь материам, не помогают на городах, отправьте куда-нибудь...

— На полевой стан их отправим. Там, в каменоломнях, такие укрытия! Чего-нибудь вроде яслей сообразим.

— Берегите детей... Ну, желаю вам первыми среди здешних колхозов встать крепко на ноги!

— Спасибо, товарищ генерал!

— Были первыми и будем первыми!..

— У нас народ упрямый, товарищ лейтенант,— говорил Харитон Акимыч Дорохину.— А упрямый, скажу, потому, что дюже был хороший колхоз. У нас колхоз был не простой.

— Золотой?

— Вот именно — золотой. Передовой был колхоз на всю округу. В газетах про нас писали. Пять человек послали от нас председателями в другие колхозы — нашей закваски, нашего воспитания! Где бригадиры ни свет ни заря на ногах, ходят по полям, дело направляют? У нас. Где звеньевые рекордами гремят? Опять же у нас! Где самые боевые доярки, телятницы? Запевалы? Э-э, работали!.. Председатель у нас был из двадцатипятитысячников. Отец родной! В душу тебе влезет, самого отсталого человека доведет до сознания!.. Какие люди были! Это меня нынче по нужде выбрали. Семьдесят восемь солдат пошло из нашего колхоза в армию, бригадиры, трактористы, вся краса колхоза!..

— И я, Акимыч, пошел на фронт не из плохого колхоза,— сказал Дорохин.— Кубань. Слыхал про такой край?.. У нас там все покрупнее вашего Степи глазом не окинешь. Станицу за час из края в край не пройдешь. Такой колхоз, как у вас,— это, по-нашему, бригада!.. Семь автомашин было в колхозе. Колхозниц возили в поле и обратно на машинах. В сороковом году построили электростанцию на реке Лабе... Что там сейчас, после немцев?..

Однажды ночью Харитон Акимыч пришел в блиндаж к Дорохину — его уже все солдаты знали и пропускали как своего — с бородатым, лохматым, старым на вид человеком, инвалидом на деревяшке.

— Вот наш тракторист,— представил старик инвалида,— Кузьма Головенко. Оставался дома по случаю не-

пригодности к военной службе. Увечье получил не на фронте. В каком году, Кузьма, в тридцать восьмом? Из Кургана с базара ехал, под поезд угодил, выпимши... Тракторист был так себе, получше его ребята работали — как и я, скажем, в те годы в председатели не го-дился. Но теперь придется нам обоим подтянуться!

— Кто же из вас старше? — спросил Дорохин.

— Мне, товарищ лейтенант, тридцать два года, — ответил Головенко.

— Что ж ты так себя запустил? Не стрижешься, не бреешься. Не в дьяконы ли постригался тут при немцах? — спросил старшина.

Головенко потеребил клочковатую, нечесаную бороду, глуповато ухмыльнулся, промолчал.

— Парень ждет со дня на день, — ответил за него Харитон Акимыч, — что его за машинку — и в конверт. Вернется наша мэтэес — судить его будет за дезертирство. Назначили его трактора угнать, с девчатами и теми механиками, что по броне остались, а он бросил машину, вернулся с дороги домой. Вот какое с ним положение... А я ему говорю: «Надо сделать, Кузьма, так: пока вернется мэтэес, чтобы ты уже тут отличился перед Советской властью! Всю землю чтоб нам попахал! Может, и помилуют тебя». Там еще, товарищ лейтенант, мои члены правления ожидают — Марфа Рубцова и Дуня Сорокина. Как бы их пропустить сюда?

— Да что у меня тут — контора колхоза?

— Дело есть к вам.

— Какое дело?.. Ну пусть зайдут.

В блиндаж вошли две женщины: одна — лет пятидесяти, с сухим, строгим, в глубоких морщинах, лицом, чернобровая; другая — лет двадцати пяти, круглолицая кареглазая блондинка, статная, с сильными, напитыми плечами. Обе, видно, принарядились в лучшее, что осталось у них: старшая — в белых носочках и тапочках; молодая — в поношенных, больших, не по ноге, грубых сапогах, но в шелковой блузке, с бусами, чуть подкрасила губы. На блузке у нее, под платком, накинутым на плечи, Дорохин заметил орден Трудового Красного Знамени.

— Это Евдокия Петровна, — представил Харитон Акимыч молодую. — Бывшая доярка, трехтысячница. Между прочим, невеста. Перебирала до войны женихами — тот работящий да некрасивый, тот красивый да не

ласковый. Когда мы ее теперь выдадим замуж? А это старый член правления, и до войны была в правлении — Марфа Ивановна.

— Здравствуйте,— пожал им руки Дорохин.— Садитесь.

Встал, уступив им место на своем ложе, вырезанном из земли, присыпанном травой и застланном плащ-палаткой и шинелью. Женщины чинно сели.

— Ну, девчата, просите лейтенанта!— сказал Харитон Акимыч, тряся головой.— Да получше просите, пожалостливее!

— О чем? Чем я вам могу помочь?..

— Ты не говорил, что ли, Акимыч?— спросила старшая.

— Нет. Рассказывайте вы, по порядку.

Помолчали.

— Трактор бы нам надо, товарищ лейтенант,— начала Дуня.

— А еще что? Молотилку? Комбайн? Грузовик?— рассмеялся Дорохин.— Вот у артиллеристов тягачи стоят без дела. Попросите, может, вспашут вам гектаров сотню. Только вряд ли вспашут. Кто же разрешит им расходовать боевое горючее?

— Нет, нам не так, чтобы на время. Нам надо трактор насовсем.

— Насовсем? Ишь ты! Ну обратитесь к командиру дивизии, к командарму — может быть, выделит вам из трофейных тягачей. А у меня в роте какие же трактора?

— Мы тебе, Дуня,— сказал старшина Юрченко,— можем жениха хорошего выделить. Прикажет товарищ лейтенант, построю роту — выбирай любого. Только опять же не насовсем — пока здесь стоим.

— Погодите, товарищи, не смейтесь,— сказала Марфа Ивановна.— Дело серьезное. Трактор есть. Надо его вытащить.

— Трактор есть,— подтвердил Головенко.

— Откуда вытащить?

— Из речки,— сказал Харитон Акимыч.— В речке трактор, в Миусе. Утопили.

— Вот он знает место,— указала Дуня на Головенко,— где утопили.

— Знаю... Значит, товарищ лейтенант, дело было так. Когда угнали трактора, один был не на ходу. Какая-то ерундовая неисправность, чего-то не хватало, я уж не

помню, чего,— в коробке скоростей какой-то шестеренки, что ли. Не то чтобы совсем утильсырье. Трактор этот я знаю. Из нашей бригады. Хороший трактор, но не ходовой. А тут горячка: «Давай, давай!». Ну куда ж давай? Зацепили его тросом с того берега на другой и утопили в Миусе. Магнето, динамику, конечно, сняли. Еще кое-что сняли по мелочи. Ну, это мы найдем...

— Где «найдем»?

— У меня есть.

— Натащал?

— Натащал... Вернулся домой, пошел на усадьбу мэзес, по мастерским прошел — там чего только нет! Бросили в попыхах. Смазал солидолом, уложил в ящики, закопал в землю... Спекулировать собирался, думаете? Нет. Кабы для себя — держал бы в секрете...

— Не знаю, как насчет железа,— сказал Харитон Акимыч,— а вот дерево, товарищ лейтенант,— сто лет пролежит в воде, и гниль его не берет! Отчего оно так получается? Только чтобы уж совсем было в воде. А если на земле, на воздухе, и в мокроте — быстро сгниет.

— Так вы чего от меня хотите? — спросил Дорохин.— Чтобы я вам трактор вытащил? Чем?

— Вы же сами сказали про ваших пушкарей, что у них тягачи стоят без дела.

— У них — не у меня.

— Ох какой вы! — вспыхнула Дуня. — «Не мое дело! Обратитесь к такому-то...» Нам без трактора никак не обернуться! Не поснем — жить нечем, голодать будут люди! Он же здесь, в этом хуторе, был, здесь его и утопили. Это место как раз перед вашими окопами, потому и пришли к вам. Если б захотели помочь... Вы свои люди тут в дивизии. Вам скорее тот командир даст тягача!

— Товарищ лейтенант! — сказал Харитон Акимыч. — Вы не обижайтесь на Евдокию Петровну. Она у нас немножко нервенная. Ее за орден при немцах три раза в гестапо таскали...

— Вот я расскажу, товарищ лейтенант, как у нас работа идет, — встала Марфа Ивановна. — Акимыч говорил, вы из хлеборобов, поймете. Двенадцать коров у нас работают. По две пары в плужок запрягаем — три плуга. И две лошади — сеялку тягают. А еще ж надо и заботиться. Три гектара в день всхать, засеять — больше мы не в силах, как ни крутись! За две недели сорок гек-

таров посеяли. Ну, еще сорок посеем. Что это для колхоза?..

— Вряд ли и трактор вас выручит. Неизвестно еще, в каком он состоянии. Может, придется его ремонтировать.

— Отремонтируем,— сказал Головенко.

— Когда? Вам же он нужен сейчас, к севу.

— Ничего!— сказал Харитон Акимыч.— Пусть даже до конца апреля провожается он с ремонтом. Май — самое лучшее время по нашей местности просо сеять. Пшеницы-то на семена у нас уже почти и нет. А просо есть, соберем у колхозников. Его немного требуется. Широкорядным — пять килограммов на гектар хватит. Набузуем побольше проса — тоже хлеб. С пшеницей кащей не пропадешь!

— А горючее?..

— Вот уж насчет горючего дойдем до самого командаира дивизии! Неужели не пожертвует нам на хозяйство хоть сколько-нибудь горючего?..

— Я две бочки автола на усадьбе мэтэес закопал,— сказал Головенко.

Дорохин притушил папиросу.

— Где же вы его утопили? Ну пойдемте, покажете.

Все вышли по ступенькам из глубокого блиндажа на воздух, выбрались из окопа, прилегли на бруствере. Была темная звездная ночь.

— Вон там,— протянул руку Головенко.

Под кручиной, на равнине, невдалеке смутно поблескивало чистое плесо неширокого извилистого Миуса, в берегах заросшего камышом.

— Там был мост. По мосту его отбуксировали на ту сторону, а потом отсюда на тросах тремя машинами затянули до половины речки...

— Какой там грунт?— спросил Дорохин.

— Грунт — ил, местами песок,— ответил Харитон Акимыч.— Мягкий грунт.

— Я прошлым летом, при немцах, купался там,— сказал Головенко.— Нарочно полез, чтоб пощупать, как он стоит. Засосало по брюхо. Но можно выручить. Подрыть под передком, завести бревна, набросать камней...

— Тремя машинами, говоришь, затянули? Колесниками?

— Да. И этот, что утопили,— колесный. Сэтээзэ.

— Ну, теперь не меньше трех гусеничных надо, чтобы вытащить!..

Все долго молчали, глядя в ночную даль. С противоположных высот изредка взлетали в воздух ракеты. Трассирующие пули, бесцельно, от скуки пускаемые вверх часовыми в немецких окопах, бороздили небо в разных направлениях, будто звезды, сорвавшись с мест, убегали друг от друга в какой-то игре. С луга тянуло сыростью, холодком. В расположении соседнего слева батальона, занимавшего оборону по линии железной дороги, в посадке щелкали соловьи.

— Птицам божьим что война, что не война, они свое дело делают,— поют,— заметил Харитон Акимыч.

Дуня лежала рядом с Дорохином, касаясь его локтем, кусала сорванную на бруствере травинку.

— Но дело не в том, что тяжело тащить,— сказал Дорохин.— И три тягача можно попросить... А вы так простудитесь, Евдокия Петровна. Земля холодная.

Девушка приподнялась на колени.

— И так не годится. Видите, постреливают. Вот эти огоньки, что прямо вверх чуть поднимутся и будто на месте замрут,— это сюда.

Дуня спустилась в окоп.

— Обдумано все правильно. Можно и подкопать и камней набросать. Одного только вы, товарищи, не учли. Немцы-то где?

— Так немцы — вот они. Ракеты пускают,— ответил Харитон Акимыч.

— Слышно им будет, если мы подгоним тягачи к самой речке?

— Еще как слышно!— Вон у них кто-то железом цокаает — нам же слышно.

— То-то и оно! Старый солдат, а тоже не сообразил!

— Да я уж сам поглядываю, товарищ лейтенант... Не выйдет наше дело.

— Они же подумают — танки идут! Такого огонька всыплют! Командир артполка не даст тягачи. Да я и просить не стану. Глупо просить. И командир дивизии не разрешит. Это же целая боевая операция. Надо ставить артиллерию задачу на прикрытие. Что вы, товарищи! Бросьте об этом и думать.

— А если зацепить его тросом в воде,— сказала Дуня,— а другой конец вывести подальше, туда аж?..— махнула она рукой.

— Куда — подальше? Километра за три?

Все засмеялись невесело.

— Распроклятый Гитлер, навязался, собака, на нашу голову! — вздохнула Марфа Ивановна. — Разорил, пограбил нас. Начинай сызнова! Да какое сызнова! Когда ходились в колхоз — ведь у людей были лошади, инвентарь, — свели, снесли в кучу, с того и начали. А теперь ничего нет! Ни брички, ни хомута, ни ярма.

— Нет, на этого утопленника пока не рассчитывайте. Надо искать вам другой выход.

— Выход один. Чоб больше пахать, надо коней из сеялки выпрячь. Чоб больше посеять, надо пахоту остановить. Как ни мудри — ничего не получается. Вот еще поставим всех, кто не занят на плугах, лопатами копать землю. Ну, извиняйте, товарищ лейтенант, что побеспокоили. Девчата! Кузьма!..

— Погодите. Чтобы Евдокия Петровна не считала меня бюрократом бездушным, я вас чаем напою. Никитин! — окликнул Дорохин ординарца. — Собери-ка там на стол.

Долго сидели гости у Дорохина в блиндаже за столом-кубом, вырезанным из земли посреди блиндажа, застланным вместо скатерти чистой простыней, — ели консервы, поджаренное сало, пили чай с галетами, вспоминали, каким был их колхоз в хуторе Южном до войны. Старшина поиграл на баяне...

Долго не спал после ухода гостей Дорохин. Прошел по окопам, проверил посты во всех взводах, вернулся, прилег, а заснуть не мог. Вспоминались Кубань, бригада, ребята рулевые, с которыми работал много лет. Разбросала война всех неведомо куда. Ни от одного не получал на фронте писем. Да и как они могли ему написать? Они не знали, где он, так же как и он не знал их адреса. Их станица освобождена, как и эти села на Миусе, лишь в феврале... Долго не смыкая глаз, думал о Галине. Где она? Что с ней? Где была при немцах? Как пережила лихое время? Пережила ли?..

На свое письмо, посланное в станицу вправление колхоза, он еще не получил ответа. Галине не писал. Почему? Хотелось сначала узнать от других, что она жива и ждет его...

Случилось так, что дня через два Дорохин сам послал связного на полевой стан колхоза за Харитоном Акимычем и трактористом.

В роту Дорохина приходил заместитель командира батальона по политчасти и сказал ему между прочим:

— Сегодня, лейтенант, будешь спать под музыку. Где-то какую-то важную высотку хотят отнять у немцев. Всевать будут ночью. Танки пойдут туда. А шум поднимут по всему фронту дивизии — чтобы сбить немцев с толку. Артполк выставит тягачи на передовую. У тебя, у Левченко, у Нестерова будут шуметь. Готовьтесь, в общем. Достанется и вам на чужом пиру похмелье!..

Дорохин послал связного за председателем колхоза, а старшине приказал:

— Сходи, Юрченко, в артдивизион, попроси от моего имени капитана: пусть эти ребята, что будут здесь ночью демонстрировать танковую атаку, захватят буксирные тросы. Скажи — для чего. Слышал, о чем просяли нас люди?

— Слышу. Достану тросы, товарищ лейтенант! — откликнулся старшина. — Для Дуни постараемся!

— Глупости говоришь! Дуня тут ни при чем.

— Так я не про вас. Про себя говорю — постараюсь для Дуни.

— А, про себя!.. Ну старайся...

Харитон Акимыч пришел уже в сумерках с бородатым Головенко, с Марфой Ивановной и Дуней.

— Попробуем вытащить ваш трактор, — сказал им Дорохин. — Приготовьте, что нужно, — камни, бревна. Вот старшина даст вам в помощь двух бойцов. Тягачи придут с полуночи. А женщин я не звал. Вам тут делать нечего. Тут будет жарко! Предупреждаю, товарищи колхозники, работать будете под огнем!

— Это что ж такое случилось? — спросил стариик. — Третьего дни сами сомневались — нельзя, а нынче можно стало?

— Нельзя было, а нынче можно, вот и все, что могу вам сказать.

— Да нам-то и не к чему знать. Нам бы свое дело справить. Ну что ж, спасибо, товарищ лейтенант! Кузьма! Ту каменную загату разберем, что ли?

— А чем подвезете камень?

— Чем подвезем?..

— Забыл сказать связному, что вы с подводой прибыли. Наши лошади в хозвзоде... А вот женщины пойдут к вам в хозяйство, пусть пришлют оттуда ваших лошадей. Идите домой. Этой ночью не разрешаю вам тут

болтаться. До свиданья! Желаю успеха. Юрченко, командуй!

Отпустив людей, Дорохин засветил каганец, прилег, стал читать газету и заснул. Выдалось несколько тихих часов — никто не звонил из батальона и штаба полка, не тормошили связные... Проснулся он поздно ночью. Глянул на часы, покурил. Вышел из блиндажа, посмотрел туда, где в темноте чуть поблескивало на изгибе чистое плесо Миуса. Не видно и не слышно было ничего. Оставив в своем блиндаже за себя командира первого взвода, Дорохин вылез из окопа, пошел лугом к речке.

— Хорошо работаете,— сказал он старшине, столкнувшись с ним нос к носу у берега.— В окопах ничего не слышно.

В речке бесшумно возились дед, Головенко и один боец. Другой боец подавал им камни с берега.

— Ну, что там?— спросил Дорохин, подойдя к воде.

— Н-ничего,— дрожащим шепотом ответил старик.— Самое глубокое место вымостили. Т-теперь легче п-пойдет... П-после такого купанья бы п-по сто грамм, а то п-пропадешь...

Головенко исчез вдруг под водой, но тотчас же вынырнул, забарахтался.

— Тш-ш! Что ты? Хватай за руку!

— Яма, черт!

— Т-тонуть будешь — все одно не шуми. Н-нельзя!

Головенко выбрался на берег, голый, стал прыгать — одна нога по колено на деревяшке,— размахивать руками, согреваясь.

— Заколел!

— С н-непривычки,— отозвался Харитон Акимыч.— Н-не рыбак. А я, б-бывало, чуть лед сойдет, в-вершки ставлю...

— Хорошо стоит, товарищ лейтенант. Не дюже засосало. Если с места сорвем — пойдет!

В стороне еще кто-то маячил. Дорохин пригнулся, увидел на фоне звездного неба женскую фигуру, подошел:

— Это кто? Дуня? Зачем вы здесь?

— Я на лошадях приехала, за ездового.

— Где же ваша повозка?

— В хуторе. Товарищ старшина забраковал — скрипит, стучит. Носилками носят камень.

— Я им еще четырех бойцов дал, товарищ лейтенант,— сказал старшина.

— Не нужна повозка? Ну и вам тут делать нечего... Ну какого черта стоите? — чуть не в полный голос выругался Дорохин.— Думаете, мы такими уж бесчувственными стали на войне, что нам и девушку в братской могиле похоронить ничего не стоит?..

Дуня отошла.

— Погодите. Я вас проведу через окопы. Ну, работайте,— обернулся к старшине,— да скорее кончайте. В ноль пятнадцать всех лишних — назад, в окопы! Тягачи я встречу в хуторе сам, укажу им проход...

Старшина, сняв пилотку, скребя затылок, долго глядел в ту сторону, где скрылись в темноте Дорохин и Дуня.

— Товарищ лейтенант! А может, я пойду тягачи встречать?— сказал он негромко, сделав несколько шагов вслед им. Но Дорохин уже не мог его услышать.

От луговой сырости, от молодой травы, от раннего апрельского первоцветья воздух был душный, прянный, хмельной. В камышах у берегов Миуса крякали дикие утки. Испуганно попискивали встревоженные выдрой кулички. На плесе била щука. В хуторе, в садах, заливались соловьи.

...Лошади были привязаны вожжами к сломанному сухому дереву на улице. Снарядом срезало начисто верхушку, остался только ствол, голый, без сучьев. Уставшие за день работы в борозде лошади, понурившись, дремали. То у той, то у другой вдруг подкашивалась нога в колене, и морда чуть не касалась губами земли. В хуторе было тихо, безлюдно. Во двориках чернели развалины хат. Кое-где среди развалин торчали, как памятники на кладбище, уцелевшие дымоходы на печах. Сады цвели.

Дорохин с трудом распутал вожжи.

— Каким-то бабьим узлом завязано...

— Да это им тут не стоялось без меня, рвались, запутали.

— Куда им рваться!.. Ну, поедешь домой?

Подсадил девушку в повозку. Кинул ей конец вожжей, зашел наперед, поправил уздечки, выдернул у одной лошади из челки репей. Держась за грядку, пошел рядом. Лошади шли шагом.

За хутором, на развилке двух дорог — одна дорога

была широкая, накатанная, по ней ночами подвозили боеприпасы на передовую, другая узенькая, проселочная,— Дуня придерживала лошадей.

— Мне домой — направо. Вот по этой дорожке, в балку. Домой... Когда мы теперь наш хутор заново отстроим?.. Харитон Акимыч говорил, у вас на Кубани нет ни матери, ни жены. Вам же все равно. Приезжайте после войны к нам жить, товарищ лейтенант!

— У меня на Кубани невеста...

— Невеста?— Шевельнула вожжами, лошади пошли.— Ждет вас?

— Не знаю. Писем не получал... Этот серый сейчас захромал или это у него давно?

— Раненный был в ногу. Зажило, а хромает. Теперь так и останется.

Дорохин на ходу свернул папирису, закурил.

— Куда ж это вы решили меня проводить? До самой каменоломни?

— Вон до того белого кустика.

— То слива, дичка. Кто-то семечко уронил, выросло. Цветет одна, при дороге... А я мечтала: вот бы хорошо, если бы вы у нас остались! Вы нас от немцев освободили, вам тут и жить! Мы бы вас уважали, дом хороший построили бы!

— Наше солдатское дело такое, Дуня,— далеко на перед нельзя загадывать. Не знаем, что с нами завтра будет, кто из нас до конца войны доживет...

— А приехали бы?

— Вот что дома — не знаю. Не пишут мне...

У белой, в цвету, будто обсыпанной снегом, сливы-дички Дуня остановила лошадей.

— Киньте цигарку!

Дорохин в две глубокие затяжки докурил папириску, кинул. Взял вожжи в правую руку, Дуня склонилась через грядку, сильно, до боли, обняла левой рукой Дорохина за шею, жарко поцеловала в губы... Дорохин чуть не задохнулся невыпущенными из легких дымом... Засмеялась, хотела сразу — по лошадям и удрать. Но не тут-то было. Обшлаг рукава кофточки зацепился на плече Дорохина за пряжку ремня планшетки.

— Ой! — смущенно, тихо вскрикнула Дуня.

Пришлось еще склониться к нему, чтобы отцепить рукав. И еще раз поцеловала его.

— Кубань далеко! Не обидится ваша невеста. Неувидит!

Привстала на колени, дернула вожжами, свистнула.
Лошади тронули шагом.

— На моих рысаках не ускажешь.

Опять засмеялась, хлестнула кнутом. Рослые, худые одры раскачались, побежали крупной верблюжьей рысью. Повозка загремела по каменистому дну балки...

Дорохин покрутил головой, пробормотал ошалело: «Ну и ну!» — и, подняв с земли пилотку и не успевший погаснуть окурок, жадно, обжигая пальцы, затянулся. Стоял на дороге, пока светлое пятнышко Дуниной кофточки не исчезло в темноте. Повторил улыбаясь: «Ну и ну!» — и побрел назад в хутор, оглядываясь и прислушиваясь к цокоту колес в балке...

Когда тягачи подошли к берегу Миуса — уже гудело по всему фронту. Немецкие батареи били беглым огнем, вспышки орудийных выстрелов по ту сторону луга за бугром полыхали, как зарницы. Немцы били пока что не по хутору Южному, а вправо — по селу Теплому, видимо, там почудилось им наибольшее скопление «танков».

Дорохин, посвечивая фонариком, указывал дорогу.

— Держи за мною!

Отвел один тягач подальше от берега, вторую и третью машину развернул в затылок первой.

— Это ж кого мы будем на хозяйство становить? — спросил один водитель тягача. — Кто здесь старший?

— Вот председатель колхоза, — указал Дорохин на Харитона Акимыча.

Старик был уже на берегу, оделся. В воде возился один Головенко.

— Этот дед?.. Магарыч будет, председатель?

— Понимаешь, товарищ, какое положение — гастро-ном еще не открыли в хуторе. Со дня на день ожидаем — доштукатурят потолки, люстры повесят, прилавки покрасят, навезут коньяку, шампанского...

— Я не про сегодня спрашиваю. После войны приедем — угостишь?

— Об чем вопрос? Пир горой закатим!

Водители сцепили машины кусками стального плетеного троса.

— Как там — пройдет вдвое? — спросил Дорохин Головенко.

— Пройдет... Давайте конец, — отозвался замерзающий в реке тракторист.

— Держи!

— Пробуем, что ли, товарищ лейтенант? — спросил, усаживаясь в кабину, водитель головной машины. — Нам тут долго нельзя маячить. Приказано курсировать туда-сюда.

— Пробуйте. Бородач, завязал?

Головенко пускал пузыри, нырял.

— Ух, глубоко! Киньте мне болт с гайкой. Тут петля, на болт возьму...

— Я вылез, товарищ лейтенант, — сказал Харитон Акимыч. — Невтерпеж! Ему все же не так холодно — у него одна нога деревянная.

— Эй, браток, довольно тебе нырять! Трогаем? А?

— Все... Готово!

Харитон Акимыч перекрестился:

— Господи, благослови!

— А ты, дед, оказывается, религиозный, — сказал Дорохин.

— Какое религиозный! Десять лет не говел. Так, прибегаю в крайнем случае...

Моторы взревели. Уже нельзя было разговаривать обыкновенным голосом, нужно было кричать.

— Кузьма! — закричал Харитон Акимыч. — Греби прочь! Трактор вытащим — тракториста задавим!

Видно, все же крепко засосало речным илом за полтора года «утопленника» — три гусеничных шестидесятисильных тягача буксовали на месте, трос натянулся, как струна, а груз в воде не подавался.

— Стой! — закричал Дорохин. — Так не пойдет. Недружно берете. Давайте по сигналу, на фонарик, разом! Смотрите все сюда. Зеленый цвет: «Приготовились!», красный: «Взяли!».

Сто восемьдесят лошадиных сил рванули разом. Что-то тронулось, забурлило в воде.

— Идет! Давай, давай!..

Моторы ревели на полном газу. Тягачи буксовали. Лопнул трос... В хуторе, в садах, разорвался первый снаряд,пущенный немцами в эту сторону.

— Перелет... Ныряй, Кузьма! — сказал Дорохин. — Вчетверо пройдет?

— Пройдет, — содрогаясь всем телом, полез в воду Головенко. — Надо было сразу вчетверо...

Второй, третий снаряды легли на лугу, но в стороне, метрах в двухстах.

— Вслепую бьет, наугад, сказал старшина.— Не видит нас.

Бух!.. Снаряд упал в реку, разорвался взметнул большой столб воды и грязи. Головенко нырнул, долго не показывался на поверхности.

— Эй, дядя!— закричал ему один водитель.— Ты не ныряй, когда в воду снаряд упадет. Оглушит тебя, как сома!

— Не обращай внимания!— крикнул Дорохин.— Это они воду подогревают, чтоб тебе теплее было. Крепи получше! Все? По местам! Приготовились!— Переключил глазок фонарика на красный цвет.— Взяли!..

Из взбаламученной, черной, чуть поблескивавшей рябью при вспышках ракет воды показались сначала труба воздухоочистителя, потом радиатор и топливный бак, облепленные водорослями.

— Идет, идет!..

Трактор выполз на берег, весь в тине, водорослях— чудо морское.

— Вытащили голубчика! — закричал Харитон Акимыч.

— Вытащили!— прыгал на деревяшке вокруг трактора Головенко.— Я боялся, порвем ось или кронштейн.

Дорохин шел рядом с влекомым на буксире трактором, не обращая внимания на комья грязи, срывавшиеся с колес, щупал его мокрые, облепленный тиной бока, обрывал с них водоросли. Хотел что-то крикнуть подбежавшему Харитону Акимычу — сорвался голос. Молча потрапал старика за плечо...

Немецкие наблюдатели скорректировали огонь по шуму моторов. Снаряды и мины стали ложиться ближе. Одна мина с резким, противным свистом шлепнулась в грязь метрах в пяти. Дорохин упал на землю, увлекая за собой старика... Мина не разорвалась.

— Все же есть у них на заводах сознательные рабочие,— сказал, поднимаясь, тряся головой, Харитон Акимыч.— Третья мина не рвется, подсчитываю.

— Тут, на лугу, грунт мягкий.

Тягачи остановились. Водитель головной машины подбежал к Дорохину:

— Товарищ лейтенант! Отцепляю два тягача!

— Отцепляй. Один отбуксует трактор к ним в колхоз, а вы уходите с этого места. Довольно! Раздразнили теперь их на всю ночь!

— Спасибо вам, товарищи бойцы! — кланялся, сняв шапку, Харитон Акимыч. — Спасибо, родные!

— Магарыч за тобою, дед, не забудь!

На всем пространстве между рекой и окопами рвались снаряды. Слева, по лугу, к ним двигалась сплошная стена разрывов.

— Вот тут-то они нас накроют!

Водитель оставшегося тягача спрыгнул с сиденья, распластался на земле.

Трах! Трах! Трах! Трах!

Харитон Акимыч, завалившись на бок в какую-то ямку, мелко, часто крестился.

— Ох ты ж, твою так... близко положил!.. — Одновременно перекрестился. — Ох ты ж!.. Еще ближе! — Перекрестился.

Трах! Трах!..

Как ни скучно было лежать в эту минуту на открытом месте, Дорохин не выдержал, расхохотался:

— Прибегаешь, дед? В крайнем случае?..

И вдруг сразу утихло. Вероятно, немцы разгадали уже точное направление танковой атаки. Здесь утихло, зато справа, за селом Теплым, загремело сильнее. Била и наша артиллерия, куда-то вглубь, по немецким тылам. Застучали пулеметы, автоматы.

— Товарищи, не могу идти! — закричал сзади Головенко.

— Тракториста ранило! — поднялся дед. — Кузьма, где ты?

Старшина подвел под руку прыгающего на одной ноге Головенко.

— Деревяшку отбило...

— Посадите его на тягач, — сказал Дорохин. — По живому не зацепило? Лезь, указывай дорогу водителю.

...В хуторе Дорохин распрощался с Харитоном Акимычем.

— Ну, не будешь больше приставать к нам? Паши, сей, не поминай лихом!

— Какое — лихом! Товарищ лейтенант! Что б я тут, председатель, делал без тягла? А теперь пойдем жить!.. Мы вам тут, на этой площади, памятник поставим!

— Вы еще разберитесь, что за трактор, как он там перезимовал в речке. Может, все поржавело.

— Сверху поржавело — очистим. А внутри — его же

маслом смазывали... А Дуня, товарищ лейтенант, девка хорошая... Приезжай к нам. В председатели тебя выберем. Передам тебе дела из полы в полу — знаешь, как в старое время лошадей продавали?

— До свиданья, Акимыч! Трактор получил? Ну, вали домой! И не мешай нам воевать...

Вскоре их дивизию сменили, отвели в тыл, километров за восемьдесят от передовой, в резерв. Там они стояли два месяца, ремонтировались, принимали и обучали пополнение и на Миус уже не вернулись — дивизия влилась в состав другой армии.

Участвовать в июльском большом наступлении Дорохину довелось на другом фронте.

И, как бывает у солдат, когда вспоминал он хутор Южный на Миусе, мечталось еще заглянуть туда после войны, встретиться со знакомыми, полюбившимися ему людьми, посмотреть, как расцветает жизнь на месте бывших развалин и окопов, найти свой блиндаж где-то в саду между яблонями, посидеть на обвалившемся, заросшем бурьяном бруствере, выкурить махорочную цигарку, послушать песни девушек, обрывающих с веток красные яблоки... Но много было потом еще хуторов и сел по пути на запад, и каждый освобожденный им клочок земли стал Дорохину родным. А когда закончилась война, ему уж было не до того, чтобы объезжать все те места, что прошел он со своими бойцами. Надо было и самому начинать работать, восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство, запахивать вчерашние окопы.

СОДЕРЖАНИЕ

Михаил Шолохов. Судьба человека	3
Алексей Толстой. Русский характер	34
Леонид Соболев. Батальон четверых	42
Андрей Платонов. Дерево родины	51
Сергей Сергеев-Ценский. В снегах	58
Валентин Овечкин. Упрямый хутор	70

БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ

Рассказы о советском характере

Редактор В. В. Безбожный

Оформление М. М. Погребинского

Художественный редактор З. А. Лазаревич

Технический редактор Г. Я. Грамотенко

Корректоры Р. Л. Глазкова, О. И. Антюфеева

Сдано в набор 26.04.84. Подписано в печать 07.08.84. Формат 84x108/32. Бум. книжно-журнальны. Гарнитура журн.-рубл. Фотонабор. Высокая печать. Усл. п. л. 5,04. Уч.-изд. л. 4,96. Усл. кр.-отт. 5,25. Тираж 250000 экз. Заказ № 92. Цена 40 коп.

Ростовское книжное издательство. 344706, Ростов-на-Дону, Красноармейская, 23.
Типография им. М. И. Калинина Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 344081, Ростов-на-Дону, 1-я Советская, 57

40 KOH.